

ЭРИХ МАРИЯ
РЕМАРК

Искра жизни



✦ ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА ✦

Эрих Мария Ремарк

Искра жизни

«АСТ»

1952

Ремарк Э.

Искра жизни / Э. Ремарк — «АСТ», 1952

ISBN 978-5-271-43563-8

Что остается у людей, захлебывающихся в огненном водовороте войны? Что остается у людей, у которых отняли надежду, любовь – и, по сути, даже саму жизнь? Что остается у людей, у которых не осталось просто ничего? Всего-то – искра жизни. Слабая, но – негасимая. Искра жизни, что дает людям силу улыбаться на пороге смерти. Искра света – в крошечной тьме...

ISBN 978-5-271-43563-8

© Ремарк Э., 1952

© АСТ, 1952

Содержание

I	5
II	12
III	21
IV	30
V	36
VI	47
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Эрих Мария Ремарк

Искра жизни

I

Скелет номер 509 медленно приподнял голову и открыл глаза. Он не знал, что с ним было – обморок или просто заснул. Между сном и обмороком давно уже почти не было разницы, голод и истощение стерли эту грань. Сон ли, обморок ли – всякий раз тебя засасывала черная болотная муть, откуда, казалось, возврата уже нет.

Какое-то время пятьсот девятый лежал тихо – он прислушивался. Это было старое лагерное правило: покуда ты не движешься, остается надежда, что тебя не заметят или сочтут мертвецом, ведь никогда нельзя знать, с какой стороны грозит опасность; старый как мир закон природы, известный любой букашке.

Но ничего подозрительного он не услышал. Часовые на пулеметных вышках замерли в полусонной неподвижности, да и за спиной вроде бы тихо. Он осторожно повернул голову и посмотрел назад.

Концентрационный лагерь Меллерн мирно нежился на солнышке. Просторный лагерный плац-линейка, прозванный весельчаками из СС танцплощадкой, был почти безлюден. Только справа от главных ворот на четырех мощных деревянных столбах висели четверо арестантов. Руки им связали за спиной и так, за руки, вздернули, чтобы ноги не касались земли. Плечевые суставы у всех, понятное дело, были вывернуты. Теперь два кочегара из крематория, соревнуясь друг с другом в меткости, швырялись в них из окна кусочками угля, но ни один из четверых даже не дернулся. Они висели уже полчаса и давно были без сознания.

Баракы рабочего лагеря в этот час пустовали – бригады с внешних работ еще не вернулись. Лишь кое-где шмыгали по зоне редкие дневальные. Слева от огромных главных ворот перед штрафным изолятором сидел шарфюрер СС Бройер. Он приказал вынести на солнышко круглый столик и плетеное кресло и теперь пил кофе. Весной 1945 года настоящий, в зернах, кофе – это была большая редкость; но Бройер только что собственноручно придушил двух жидов, которые вот уже полтора месяца отравляли в шизо воздух, и считал, что столь благое дело заслуживает вознаграждения. А тут еще повар прислал ему с кухни вместе с чашечкой кофе кусок ватрушки на блюдечке. Бройер жевал ватрушку медленно, с чувством – особенно любил он изюм без косточек, которого на сей раз попало в начинку очень много. Тот из жидов, что постарше, не доставил ему почти никакого удовольствия; зато другой, помоложе, оказался ничего, цепкий парень – этот довольно долго брыкался и хрипел. Бройер сонно ухмылялся, прислушиваясь к размытым руладам лагерного оркестра, что репетировал вдалеке, за теплицами садоводства. Оркестр играл вальс «Розы с юга» – любимую вещь коменданта лагеря, оберштурмбанфюрера Нойбауэра.

Пятьсот девятый лежал в противоположном конце зоны, там, где жались друг к другу деревянные бараки, отрезанные от большого, Рабочего лагеря забором из колючей проволоки. Называлась эта горстка бараков Малым лагерем. Сюда определяли заключенных, которые слишком ослабли и работать уже не могли. И тогда их посылали сюда умирать. Почти все умирали очень быстро, но пополнение поступало быстрее, до того, как вымирала предыдущая партия, так что бараки постоянно были забиты до отказа. Зачастую умирающие лежали друг на друге штабелями даже в коридорах, а то и вовсе выползали подышать на улицу. Газовых камер в Меллерне не было. Комендант этим обстоятельством особенно гордился. Он с удовольствием повторял – у них, в Меллерне, умирают только естественной смертью. Офици-

ально Малый лагерь считался, да и назывался, отделением щадящего режима, но на самом деле организмы лишь очень немногих арестантов способны были сопротивляться этому щадящему режиму дольше одной-двух недель. А из этих немногих образовалась еще одна, небольшая, но особенно стойкая группа, что осела в двадцать втором бараке. Эти – собрав последние остатки юмора висельников – вообще именовали себя ветеранами. Среди них был и пятьсот девятый. Его перевели в Малый лагерь четыре месяца назад, и ему самому казалось чудом, что он все еще жив.

Из труб крематория валил черный дым. Ветром его прижимало к земле, ленивые клубы почти задевали крыши бараков. Запах у дыма был жирный, сладковатый и вызывал тошноту. Даже за свои десять лагерных лет пятьсот девятый так и не сумел к этому запаху притерпеться. Сегодня в этом дыму проплыли и останки двух ветеранов – часовщика Яна Сибельского и университетского профессора Йозеля Бухсбаума. Оба умерли в двадцать втором бараке и в полдень были доставлены в крематорий – Бухсбаум, впрочем, не совсем в полном комплекте: не доставало трех пальцев, семнадцати зубов, ногтей на пальцах ног и части полового члена. Недостача образовалась в процессе перевоспитания Бухсбаума из отщепенца и выроodka в пригодный общественный элемент. Причем история с половым членом долго была предметом особого веселья на вечеринках и культурных мероприятиях в клубе СС. Это была идея шарфюрера Гюнтера Штайнбрэннера, который совсем недавно был откомандирован в лагерь. Как все замечательные идеи, она была проста: впрыскивается концентрированный раствор соляной кислоты, и все дела. Придумкой этой Штайнбрэннер сразу же завоевал авторитет среди товарищей.

Был погожий мартовский денек, и солнце уже слегка пригревало, но пятьсот девятый все равно мерз, хотя поверх своих одежек надел шмотки еще троих товарищей – пиджак Йозефа Бухера, пальто старьевщика Лебенталья и драный свитер Йозеля Бухсбаума, который барак чудом успел спасти прежде, чем труп отправили в крематорий. Но когда росту в тебе метр семьдесят восемь, а весу меньше тридцати пяти кило, тебя не угреют даже самые пушистые меха.

Пятьсот девятый имел право полчаса понежиться на солнышке. Потом надо было вернуться в барак, отдать одолженные одежки и свою робу в придачу следующему заключенному, и так далее. Распорядок этот ветераны завели с тех пор, как кончились холода. Некоторые, правда, уже не хотели выползать на улицу. Слишком они были истощены и после всех мучений зимы желали лишь одного – чтобы им дали спокойно умереть в бараке; но Бергер, их староста, настоял на том, чтобы всякий, кто еще способен хотя бы ползать, какое-то время проводил на свежем воздухе. Сейчас была очередь Вестхофа, за ним шел Бухер. Лебенталь отказался, у него было дело посущественней.

Пятьсот девятый снова оглянулся. Лагерь расположен на возвышенности, сквозь колючую проволоку весь город виден как на ладони. Город распластался в долине, много ниже лагеря – над толкотней его крыш гордо вздымаются башни церковных колоколен. Город старый, даже древний, с множеством церквей, крепостными валами, липовыми аллеями и петляющими переулками. На севере раскинулись новые кварталы, там улицы пошире, вокзал, доходные дома, фабрики, а еще медеплавильные и сталеплавильные заводы, где, кстати, тоже работают бригады из их лагеря. Широкой ленивой дугой через город протянулась река, и в ее сонных водах отражаются облака и мосты.

Пятьсот девятый уронил голову на грудь. Он не мог все время держать ее прямо. Черепушка казалась чугуновой, а мускулы шеи давно иссохли, превратившись в ниточки, – к тому же вид дымящихся труб там, в долине, только усиливает и без того лютый голод. Голод не только в желудке, а как бы в голове, в мозгу. Желудок-то давно к голодухе притерпелся и, похоже, ни на какие другие ощущения, кроме тупой и равномерной голодной боли, давно не способен. А вот голод в мозгу – он куда страшней. Он пробуждает галлюцинации и вообще неутолим. Он про-

грызается даже в сны. Зимой пятьсот девятому понадобилось три месяца, чтобы избавиться от навязчивого видения жареной картошки. Да если б только видения – запах ее чудился ему повсюду, даже в парашной вони. А теперь вот шкварки. Яичница с салом.

Он глянул на никелевые часы, что лежали подле него на земле. Часы ему дал с собой Лебенталь. Это была едва ли не самая большая ценность барака; когда-то, много лет назад, часы эти протащил в зону поляк Юлиус Зильбер, сам давно уже покойник. Пятьсот девятый видел – ему осталось еще десять минут, но все равно решил ползти обратно к бараку. Он боялся ненароком снова заснуть. Страшно засыпать, когда неизвестно, проснешься ли снова. Он еще раз пристально ощупал взглядом главную лагерную аллею. Но и теперь не углядел никаких признаков опасности. По правде сказать, ничего особенно страшного он сейчас и не ожидал. Скорее это была обычная предосторожность старого лагерного волка, чем взаврадашний страх. Из-за дизентерии лагерь был на некоем подобии карантина, и люди из СС заглядывали сюда редко. А кроме того, в последние годы контроль за лагерной дисциплиной был уже совсем не тот, что прежде. Война все больше чувствовалась и тут: многих эсэсовцев, все героизма которых прежде сводились лишь к тому, чтобы мучить и убивать безоружных узников, наконец-то отправили на передовую. Теперь, весной сорок пятого, в лагере насчитывалась лишь треть прежнего состава войск СС. Весь внутренний распорядок давно уже почти целиком контролировался силами самих арестантов. В каждом бараке имелся свой староста и несколько палатных старост; бригады подчинялись бригадирам и десятникам, а весь лагерь – старосте лагеря. И все они были заключенными. Правда, их контролировало лагерное руководство: комендатура лагеря, надзиратели блоков, командиры колонн – это все, конечно, были эсэсовские чины. Вначале лагерь предназначался только для политических, но с течением лет сюда из переполненных тюрем города и окрестностей нагнали и толпы обыкновенных уголовников. Политические и уголовники различались цветом матерчатых треугольных лычков, нашитых на одежду рядом с лагерной меткой. У политических треугольники были красные, у уголовников – зеленые. Евреям обязательно нашивался еще один треугольник, желтый, так что в сумме оба треугольника давали звезду Давида.

Пятьсот девятый прихватил пальто Лебенталья и пиджак Йозефа Бухера, набросил их себе на спину и медленно пополз назад к бараку. Он чувствовал, что устал больше обычного. Даже ползти – и то трудно. Уже после первого десятка метров земля под ним поплыла и завертелась. Он остановился, смежил веки и сделал глубокий вдох, чтобы собраться с силами. В тот же миг в городе завывли сирены.

Сперва только две. Несколько секунд спустя их панический вопль подхватили другие, а вскоре уже казалось, что весь город там, внизу, надрывается от крика. Рев стоял над крышами и улочками, неся с башен и фабричных труб; город раскинулся под солнцем беззащитный и, казалось, совершенно неподвижный, он только кричал, как парализованный зверь, который видит свою смерть, а убежать не в силах, – орал всеми глотками своих сирен и гудков, устремляя истошный вопль в бестревожную тишину неба.

Пятьсот девятый мгновенно вжался в землю. Находиться за пределами барака во время воздушной тревоги категорически запрещено. Он мог бы попытаться встать и побежать, но больно уж он ослаб для такой пробежки, а до барака слишком далеко; пока он будет этак перемещаться, кто-нибудь из часовых, особенно если новенький да нервный, еще, чего доброго, пальнет в него с перепугу. Поэтому он как можно быстрее пополз назад, пока не добрался до неглубокой выемки в почве, нырнул в нее и накрылся всеми своими одежками. Теперь он выглядит просто как свалившийся замертво арестант. Такое случается сплошь и рядом и никаких подозрений не вызывает. Да и тревога наверняка продлится недолго. В последние месяцы тревогу объявляли чуть ли не через день, но все попусту. Самолеты неизменно пролетали над городом, не причинив ему никакого вреда, и улетали дальше – на Ганновер и Берлин.

Теперь в общий вой включились и лагерные сирены. Потом, некоторое время спустя, послышался второй, куда более грозный сигнал тревоги. Это был мерный, но какой-то зыбкий, наплывающий гул, словно тысячи грампластинок крутились под тупыми иглами гигантских патефонов. К городу приближались самолеты. Пятьсот девятый и это уже слышал. Его это совершенно не волнует. Вот если часовой на ближайшей пулеметной вышке вдруг заметит, что он не мертвец, – это действительно страшно. А все, что за колючей проволокой, за зоной, его не касается.

Дышать было тяжело. Душный воздух под пальто превращался в черную вату, которая наваливалась на него все плотней и плотней. Он тут, в этой выемке, как в могиле – постепенно ему и впрямь стало казаться, что он лежит в могиле и уже никогда не встанет, на сей раз это точно конец; он так и останется тут лежать, так и помрет, все-таки сломленный слабостью, с которой столько лет боролся. Он попробовал было сопротивляться, но сил не было, он только еще отчетливее ощутил какое-то странное, покорное ожидание, разлившееся вдруг по всему телу, впрочем, не только по телу, но и повсюду вокруг – казалось, все в мире замерло и ждет чего-то; замер город, воздух, даже дневной свет. Так бывает в самом начале солнечного затмения, когда все краски вдруг подергиваются свинцовым налетом, а в воздухе замирает нарастающее предчувствие бессолнечного, мертвого мира, некий вакуум, некая бездыханность ожидания и страха: ну что, в этот раз пронесет – или уже конец?

Первый удар был не особенно силен, но раздался внезапно. К тому же пришелся он с той стороны, которая казалась самой защищенной. Пятьсот девятый вдруг ощутил очень резкий толчок под дых откуда-то снизу, из-под земли. В тот же миг мощное гудение над головой прорезал свербящий стальной визг, стремительно и с истошным подвыванием нараставший – похожий на вой сирены, и все-таки совсем другой. Пятьсот девятый не знал в точности, что было раньше – удар из-под земли или этот визг и последующий треск, но он точно знал, что во время предыдущих воздушных тревог ничего подобного не было, а когда все это повторилось еще раз, отчетливей и сильнее, и снова снизу и сверху, он уже понял, что это такое: самолеты впервые не пролетели мимо. Они бомбят город.

Земля снова содрогнулась. Пятьсот девятому казалось, будто кто-то из-под земли тычет ему в живот здоровенной резиновой дубинкой. Он вдруг понял, что голова у него совершенно ясная. Смертельная усталость вмиг куда-то улетучилась. Каждый толчок из-под земли, казалось, сотрясает его сознание. Какое-то время он еще лежал неподвижно, а потом почти безотчетно рука его потянулась вперед и осторожно приподняла край пальто над головой, чтобы в образовавшуюся щель можно было увидеть город.

Там как раз в этот миг невероятно медленно, как игрушечный, раскололся на части и взлетел на воздух городской вокзал. Было что-то почти грациозное в той легкости, с которой взмыл ввысь золоченый вокзальный купол и, проплыв над деревьями городского парка, где-то за ними ухнул вниз. Казалось, тяжелые взрывы тут вовсе ни при чем – так медленно и красиво все произошло, а хлопки зениток тонули в них, как тьяканье терьера в басовитом лае огромного дога. После следующего подземного толчка начала крениться одна из башен церкви Святой Катарины. Она тоже падала очень медленно и как-то по-домашнему, еще по пути разваливаясь на куски и кусочки, будто все это не на самом деле, а замедленная киносъемка.

Теперь между домами стали вырастать грибки и фонтаны черного дыма. Пятьсот девятый все еще не мог осознать происходящего; казалось, великаны-невидимки решили там, внизу, позабавиться, вот и все. В уцелевших городских кварталах из труб все так же мирно курился дымок, в реке, как прежде, отражались облака, а разрывы зенитных снарядов украсили небо уютными барашками, словно это не небо вовсе, а старая, изветшавшая подушка, из которой лезут во все стороны сероватые хлопья ваты.

Одна из бомб разорвалась далеко в стороне от города, в полях, что положим склоном поднимались к лагерю. Но пятьсот девятый и тут не почувствовал страха, слишком далеко все это от тесного мира зоны, который только и составлял его жизнь. Бояться можно горячей сигареты, когда тебе тычут ею в глаз или мошонку, долгих недель в голодном карцере, этом каменном гробу, где ни встать, ни лечь; бояться надо козел, именуемых еще кобылой, на них тебе враз отшибают почки, или камеры пыток в левом крыле, что у главных ворот, бояться надо Штайнбренера, Бройера, замкоменданта Вебера, но даже эти страхи как-то поблекли и отдалились с тех пор, как его сбагрили в Малый лагерь. Да, если хочешь сберечь силы и выжить, надо уметь забывать. К тому же за десять лет существования отлаженный механизм концлагеря Меллерн все-таки подустал и разболтался, – ведь даже новоиспеченному, идеологически выдержанному и фанатично преданному идеалам эсэсовцу со временем прискучивает истязать скелеты. Они недолго выдерживают, да и реагируют как-то вяло. Вот когда с этапом поступает новое, свежее, крепкое пополнение, бывлой патриотический пыл, бывает, иногда еще разгорится с прежней силой. Тогда по ночам снова оглашают округу до боли знакомые вопли, да и личный состав выглядит как-то пободрей, словно после хорошей порции свиной поджарки с картошкой и красной капустой. Однако в целом за годы войны немецкие концлагеря стали, пожалуй, даже гуманными. Теперь людей здесь почти не мучили – всего лишь травили в газовых камерах, забивали насмерть, расстреливали или измочаливали на тяжких работах, а потом морили голодом. А если иной раз и сжигали кого в крематории заживо, так это не по злему умыслу, а скорее, по недосмотру, от переработки, а еще потому, что иные из этих скелетов очень уж не любят двигаться. Да и случалось это только тогда, когда посредством массовой ликвидации срочно требовалось подготовить место для нового эшелона. Кстати, в Меллерне не слишком рьяно морили голодом тех, кто не в силах больше работать; кое-какую еду в Малый лагерь все же подбрасывали, и ветераны вроде пятьсот девятого так к этому скудному рациону приспособились, что по части выживания били теперь все рекорды.

Бомбардировка внезапно прекратилась. Только зенитки все еще бесновались и тявкали. Пятьсот девятый еще чуть-чуть приподнял край пальто, чтобы увидеть ближайшую пулеметную вышку. На ее площадке было пусто. Он посмотрел направо, потом налево. Все вышки красовались без часовых. Охранники попросту сбежали и попрятались, благо рядом с казармой у них отличное бомбоубежище. Пятьсот девятый совсем сбросил с себя пальто и еще поближе подполз к колючей проволоке. Здесь он оперся на локти и стал внимательно разглядывать, что творится в долине.

Город теперь горел повсюду. То, что прежде выглядело почти игрой, обернулось наконец своей истинной сущностью – огнем и разрушением. Дым, словно огромный моллюск уничтожения, желтовато-черной массой подминал под себя улицы и пожирал дома. Сквозь него тут и там прорывались язычки пламени. Там, где был вокзал, гигантским снопом вздымались к небу искры. Обломок башни церкви Святой Катарины вспыхнул разом, и языки пламени полыхнули над ним, как блеклые молнии. А над всем этим, словно ничего не случилось, беззаботно сияло солнце в своем золотистом нимбе, и было что-то почти призрачное в этом зрелище, в том, что по голубому небу с прежней безмятежностью плывут веселые белые облачка, что леса и лесистые гряды холмов спокойно и безучастно застыли вокруг в весенней мартовской дымке, – словно только город, он один, осужден суровым приговором неведомого и неподкупного судии.

Пятьсот девятый, как замороженный, смотрел вниз. Смотрел во все глаза, забыв о всякой осторожности. Он видел этот город всегда только отсюда, из-за колючей проволоки, он никогда в нем не был; но за десять лет, что он провел в лагере, город стал для него чем-то гораздо большим, чем просто городом.

Поначалу это был почти непереносимый образ утраченной свободы. Изю дня в день глядел он туда, вниз, на город – смотрел на его беззаботную суету, когда после так называемой специальной обработки, проведенной начальником режима Вебером, еле мог доползти до своего барака; смотрел на его дома и церкви, когда с вывихнутыми плечами висел на столбе; смотрел на белые барки на его реке и на автомобили, что бодро торопились на природу, навстречу весне, по его дорогам, когда мочился кровью из отбитых почек; смотрел до рези в глазах, до одурения, смотрел, хотя смотреть на него было мукой, еще одной пыткой вдобавок ко всем другим лагерным истязаниям.

Потом он начал этот город ненавидеть. Время шло, утекало, а там, внизу, ничто не менялось, невзирая на все, что творилось тут, наверху. Дым от его кухонных очагов каждый день беззаботно курился к небу, ничуть не пугаясь жирной копоти из труб крематория; на его спортплощадках, в его парках царило веселое оживление, хотя в те же самые часы сотни измученных человеческих тварей отдавали Богу душу на лагерьном плацу; каждое лето вереницы бодрых отпускников устремлялись из него в походы и странствия по окрестным лесам, когда колонны заключенных понуро брели с каменоломни, волоча за собой умерших и пристреленных товарищей; он ненавидел этот город за то, что его жителям нет никакого дела ни до него, ни до других арестантов.

А потом в один прекрасный день угасла и ненависть. Борьба за корочку хлеба стала важнее всего на свете, а вместе с этим пришло и познание, что ненависть и память способны разрушать и без того надломленную психику точно так же, как и боль. Пятисот девятый научился отгораживаться от всего лишнего, все забывать и ни о чем не заботиться, кроме наинасущнейших нужд ближайшего часа. Город стал ему безразличен, а его неизменный вид сделался лишь еще одним мрачным подтверждением неизменности и его, пятисот девятого, безысходной участи.

И вот теперь город горел. Пятисот девятый почувствовал – у него дрожат руки. Он попытался подавить дрожь, но не сумел, наоборот, она усиливалась. Казалось, все скрепы души и тела разом треснули, а то и надломились в нем. Голова болела, была какая-то пустая, и по ней изнутри кто-то барабанил.

Он закрыл глаза. Этого он не хотел. Ни за что не хотел впускать в себя эту слабость еще раз. Он давно растоптал и похоронил в себе все надежды. Теперь локти его подломились, голова упала на руки. Ему нет никакого дела до города. Нет и не будет, он не хочет. Он хочет и дальше, как прежде, бездумно подставлять солнцу грязноватый пергамент, обтянувший его череп мертвым подобием кожи, хочет дышать, бить вшей, ни о чем не размышлять – словом, делать все то, что он делает уже много лет.

Он не может. Трясучка внутри не унималась. Он перевернулся на спину и вытянулся пластом. Теперь над ним небо, все в барашках зенитных разрывов. Барашки быстро развеиваются, ветер уносит их вдаль. Некоторое время он полежал так, но тоже не выдержал. Небо было, как бело-голубая бездна, и он, казалось, летит в эту бездну. Он снова перевернулся и с трудом сел. На город больше не смотрел. Смотрел на лагерь, впервые смотрел на зону так, словно ждал оттуда помощи.

Баракы, как прежде, понуро дремали на солнце. На танцплощадке четверо мучеников все так же висят на своих столбах. Шарфюрер Бройер исчез, но из труб крематория все еще тянет-с я дым, правда, не такой густой и жирный. Значит, либо сжигают детей, либо был приказ прекратить работу.

Пятисот девятый заставил себя оглядеть все это как следует. Вот он – его мир. Сюда не попала бомба. Здесь все по-старому, неумолимо и неизменно. И лишь этот мир над ним властен, а все, что там, за колючей проволокой, его совершенно не касается.

В этот миг умолкли зенитки. Он вздрогнул от неожиданной тишины – казалось, шум вдруг лопнул, как резиновый баллон, кольцом сжимавший голову. На секунду он даже подумал, что все это было сном и только теперь он просыпается. И тут же резко обернулся.

Нет, это не сон. Вон он, город – и он горит. Огонь, руины – все тут, и все-таки оно хоть чуточку, а его тоже касается. Сейчас уже трудно точно определить, куда попали бомбы, все меркнет в дыму, тонет в языках пламени, но в конце концов это не так уж важно, – главное, город горит. Город, что казался таким же нерушимым и неизменным, как и сам лагерь.

И только тут его передернуло от страха. Почудилось вдруг, что дула пулеметов со всех вышек направлены на него. Он воровато оглянулся. Но нет, ничего не случилось. На вышках по-прежнему никого. Да и на дорожках зоны ни души. Только его это уже не успокаивало – дикий страх вдруг словно схватил его за шиворот и начал трясти. Он не хочет умирать! Теперь – нет! Теперь – ни за что! Мигом подхватил он свои одежды и пополз обратно. Как назло, он тут же запутался в пальто Лебенталя и теперь стонал, чертыхался, стараясь высвободить колени из этой проклятой хламиды, а высвободившись, пополз дальше, все еще не понимая, что с ним такое творится, – пополз изо всех сил, словно спасаясь не только от смерти, а от чего-то еще.

II

Барак номер 22 делился на две половины, каждой из которых командовал свой староста. Во второй секции второй половины и осели ветераны. Это был самый тесный и самый сырой угол во всем бараке, но ветеранов это беспокоило мало – куда важнее для них было держаться вместе. Это давало каждому из них дополнительные силы. Ведь смерть такая же заразная штука, как, допустим, тиф, так что поодиночке, когда вокруг все мрут как мухи, и самому недолго очокуриться. А вместе и противостоять смерти как-то полегче. И если даже кто-то расслабится, начнет сдавать, товарищи ему помогут, поддержат. Ветераны Малого лагеря вовсе не потому жили дольше других, что им доставалось больше пищи, они выживали, ибо научились сохранять в себе остатки сил для отчаянного сопротивления смерти.

Сейчас в одном углу с ветеранами нашли себе приют сто тридцать четыре скелета. Вообще-то места тут было человек на сорок, не больше. Спали на нарах, сколоченных из досок в четыре яруса. Доски, как правило, были голые, в лучшем случае покрытые гнилой, трухлявой соломой. Было еще несколько грязных одеял, за которые после смерти очередного владельца разгоралась ожесточенная борьба. На каждом спальном месте лежали по трое, а то и вчетвером. Даже для скелетов это было тесновато, ведь плечевые и тазобедренные суставы не худеют. Место выкраивали за счет того, что спали все на боку, как шпроты в банке, но все равно ночью то и дело раздавался глухой стук, когда кто-нибудь сваливался на пол. Многие научились спать стоя или сидя, а особым счастливчиком считался тот, у кого сосед по нарам умирал к вечеру. Вечерних покойников просто выволакивали на улицу, и тогда на их месте можно было улечься поудобнее и выспаться всласть, ибо пополнение поступало только на следующий день.

Сами ветераны занимали угол слева от двери. Оставалось их сейчас двенадцать. Два месяца назад их было сорок четыре. Но зима их доконала. Они знали – всем им крышка, пайка становилась все тощее, а нередко бывало и так, что целый день, а то и два не давали никакой еды. В такие дни трупы громоздились у барачных штабелями.

Из этих двенадцати один сошел с ума и был твердо убежден, что он собака, а точнее, немецкая овчарка. Ушей у него не было, он их лишился, когда эсэсовцы тренировали на нем своих собак. Младшего из ветеранов звали Карелом, это был мальчонка из Чехословакии. Родители его погибли и теперь удобряли картофельное поле набожного крестьянина в деревне Вестлаге – дело в том, что пепел сожженных в крематории засыпали в мешки и продавали как искусственное удобрение. В нем много фосфора и кальция. Карел носил красный треугольник политического заключенного. Было ему аж одиннадцать лет.

Старшему из ветеранов было семьдесят два. Это был еврей, который вел борьбу за свою бороду. Борода имела отношение к его религии. И хотя лагерным распорядком бороды запрещены, этот человек снова и снова пытался ее отрастить. За это в Рабочем лагере его всякий раз тащили на козлы и избивали до беспамятства. Зато здесь, в Малом лагере, ему повезло больше. Эсэсовцев меньше заботил здешний распорядок, да и проверки здесь бывали редко – кому охота подхватить вшей, дизентерию, тиф или туберкулез? Поляк Юлиус Зильбер прозвал этого старика Агасфером, поскольку он исхитрился пройти через дюжину концлагерей в Голландии и Польше, Германии и Австрии. Сам Зильбер тем временем успел помереть от тифа и теперь расцветал по весне пышным кустом примул в саду коменданта Нойбауэра, который получал пепел из крематория бесплатно; а вот прозвище Агасфер, которое Зильбер придумал, прижилось и осталось. Лицо старика здесь, в Малом лагере, совсем сморщилось, зато борода отросла, превратившись в уютные обжитые джунгли для нескольких поколений ядреных, откормленных вшей.

Старостой их секции был доктор наук Эфраим Бергер, в прошлом врач. Обстоятельство совсем не маловажное для тех, кого на каждом шагу караулит смерть. Зимой, когда был гололед

и скелеты то и дело поскользывались, ломая себе руки-ноги, он многих спас, накладывая шины. В лазарет из Малого лагеря никого не брали, койки в больничке полагались только тем, кто работает, а еще приклатненным. К тому же в Большом лагере даже в гололед было не так опасно – там в самую скользотину дорожки посыпали все тем же пеплом из крематория. Делалось это, понятно, не от большой любви к узникам, а просто в целях экономии рабочей силы. С тех пор как концлагеря были тоже включены в общую систему трудового фронта, рабочую силу здесь старались использовать рационально. Это, впрочем, имело и обратную сторону – арестанты быстрее урабатывались насмерть. Но такая – естественная – убыль никого не волновала, ибо там, на воле, арестов изо дня в день производилось достаточно.

Бергер был одним из немногих, кому разрешалось выходить за ворота Малого лагеря. Вот уже несколько недель он работал в морге при крематории. Вообще-то старосты имели право не работать, но с врачами в лагере было туго, вот Бергера и откомандировали. От этого всему бараку была большая выгода. Через санчасть, где у Бергера работал знакомый фельдшер, он теперь мог иногда доставать понемногу лизола, ваты, аспирина и других медикаментов для своих доходяг. У него даже имелся флакон йода, припрятанный на нарах в соломе.

Но главным из ветеранов был, конечно же, Лео Лебенталь. Он ведал тайные ходы-выходы на черный рынок в Большом лагере и, как поговаривали, даже пути-дорожки на волю. Как ему это удастся, никто толком не знал. Известно было только, что две шлюхи из заведения «Летучая мышь», расположенного по пути в город, каким-то боком к его делишкам причастны. И вроде бы даже какой-то человек из СС, но вот об этом уж определенно никто ничего не знал. А сам Лебенталь, ясное дело, помалкивал.

Торговал он всем на свете. Через него можно было достать сигаретные бычки и морковку, иногда даже картошку, объедки с кухни, кость, а иной раз и кусок хлеба. Он никого не обманывал, только обеспечивал товарообмен. Похоже, мысль, что можно торговать только для своей выгоды, просто не приходила ему в голову. Сам процесс торговли, а вовсе не товары – вот что поддерживало в нем жизнь.

Пятьсот девятый прополз в дверь. Высокое полуденное солнце просвечивало сквозь его уши. На миг они замерцали двумя желтоватыми восковыми пятнами вокруг его темной головы.

– Они бомбили город! – пропыхтел он.

Никто ему не ответил. После яркого солнца на улице тут, в бараке, казалось темно, пятьсот девятый никого не мог разглядеть. Он закрыл глаза и открыл их снова.

– Они бомбили город, – повторил он. – Вы что, не слышали?

И на сей раз никто не отозвался. Теперь наконец пятьсот девятый различил возле двери Агасфера. Тот сидел на полу и гладил Овчарку. Овчарка рычал, ему было страшно. Волосы свалывшимися прядями закрывали ему почти половину испещренного шрамами лица, а между прядями посверкивали испуганные, бегающие глазки.

– Гроза, – приговаривал Агасфер. – Это просто гроза! Спокойно, Волк, спокойно!

Пятьсот девятый пополз дальше в глубь барака. Он не мог понять, почему остальные так равнодушны.

– Бергер где? – спросил он.

– В крематории.

Он сложил на пол пальто и пиджак.

– Вы что, выходить не собираетесь? – Он посмотрел на Вестхофа и Бухера. Те ничего не ответили.

– Ты же знаешь, это запрещено, – пробубнил наконец Агасфер. – Пока отбоя не дадут.

– Так тревога кончилась!

– Нет еще.

– Да кончилась же! Самолеты улетели. Они бомбили город!

- Сколько можно об одном и том же, – пробурчал кто-то в темноте.
Агасфер поднял глаза.
- А если они в отместку за это десяток-другой, а то и сотню из нас расстреляют?
- Расстреляют? – захихикал Вестхоф. – С каких это пор тут стали расстреливать?!
- Овчарка залаял. Агасфер схватил его за холку.
- В Голландии они после каждого воздушного налета расстреливали обычно десять – двадцать политических. Чтобы у нас не возникало опасных иллюзий, как они объясняли.
- У нас тут не Голландия.
- Это точно. Так и я говорю – в Голландии, там расстреливали.
- Расстреливали! – Вестхоф презрительно фыркнул. – Может, ты солдат, что у тебя такие запросы? Тут или вешают, или забивают насмерть, одно из двух.
- Ну а вдруг, для разнообразия?
- Да заткнетесь вы наконец или нет?! – заорал из темноты все тот же ворчливый голос.
- Пятьсот девятый присел рядом с Бухером и закрыл глаза. И тут же снова увидел дым над горящим городом, ощутил глухую детонацию бомбовых разрывов.
- Как думаете, пожрать сегодня дадут? – спросил Агасфер.
- Черт бы тебя побрал! – отозвался голос из темноты. – Может, тебе еще чего надо, а? Сперва, понимаешь, хочет, чтобы его расстреляли, потом чтобы накормили...
- Еврей не может без надежды.
- «Надежды»! – Вестхоф снова подхихикнул.
- А то как же! – спокойно ответил Агасфер. Пятьсот девятый раскрыл глаза.
- Наверно, сегодня вечером жратвы не будет, – заметил он. – В наказание за бомбежку.
- Опять ты со своей бомбежкой! – взвыл из темноты все тот же недовольный голос. – Ты заткнешься наконец или нет?
- Может, у кого есть чего-нибудь пожрать? – спросил Агасфер.
- О Господи! – голос из тьмы чуть не задохнулся от подобного идиотизма.
- Агасфер не обращал на него ни малейшего внимания.
- Вот в лагере под Терезиенштадтом у одного была плиточка шоколада, а он и не знал. Припрятал, когда его в лагерь привезли, а потом и забыл. Молочный шоколад, из автомата. Даже с портретом Гинденбурга на обертке.
- А еще что там было? – прокаркал голос из глубины. – Может, заграничный паспорт?
- Нет. Но на этом шоколаде мы два дня протянули.
- А кто это все время так орет? – спросил пятьсот девятый.
- Да один со вчерашнего этапа. Новенький. Ничего, еще успокоится.
- Агасфер вдруг прислушался, потом сказал:
- Все.
- Что все?
- Кончилось. Там. Отбой был. Отбой воздушной тревоги.
- Вдруг стало очень тихо. Потом послышались шаги.
- Овчарку убирай! – зашипел Бухер.
- Агасфер затолкал сумасшедшего под нары.
- Лежать! Тихо! – Он приучил Овчарку слушаться команд. Если бы его нашли эсэсовцы, все было бы кончено: сумасшедших усыпляли на месте.
- Бухер отошел от двери.
- Это Бергер.

Вошел доктор Эфраим Бергер, щедушный человечек с покатыми плечами и большой круглой головой, лысой, как бильярдный шар. Глаза у него были воспалены и слезились.

- Город горит, – сообщил он с порога.

Пятьсот девятый поднял голову.

– А что они говорят?

– Не знаю.

– Как так? Хоть что-то они должны были сказать?

– Не-а, – ответил Бергер устало. – Как только объявили тревогу, они сразу перестали жечь.

– Почему?

– Откуда мне знать? Приказывают – и все.

– А СС? Этих ты видел?

– Нет.

Сквозь ряды нар Бергер прошел в глубь барака. Пятьсот девятый смотрел ему вслед. Он ждал Бергера, хотел поговорить с ним, а тот, похоже, безучастен, как и все остальные. Ничего понять нельзя.

– Будешь выходить? – спросил он Бухера.

– Нет.

От роду Бухеру было двадцать пять лет, и семь из них он провел в лагере. Отец его был редактором социал-демократической газеты, этого оказалось достаточно, чтобы упрятать за решетку сына. «Когда он отсюда выйдет, ему еще останется лет сорок жизни, – думал пятьсот девятый. – Сорок, а то и все пятьдесят. А мне самому уже пятьдесят. Так что мне останется лет десять, от силы двадцать». Он достал из кармана щепочку и принялся ее жевать. «Что за чушь в голову лезет?» – подумал он.

Бергер вернулся.

– Пятьсот девятый! Ломан хочет с тобой поговорить.

Ломан лежал в глубине барака на нижних нарах из соломы.

Он сам так хотел. У него была тяжелая дизентерия, и вставать он уже не мог. Ему казалось, что с нижних нар делать под себя все-таки как-то чище. Чище, конечно, не было. Но все давно привыкли. В большей или меньшей степени, но понос был у каждого. Однако для Ломана это было хуже пытки. Он лежал при смерти, но при каждом судорожном сжатии своих внутренностей все равно извинялся. Лицо у него было такое серое, словно он обескровленный негр. Он слабо двинул рукой, и пятьсот девятый склонился над ним. Глазные белки Ломана отсвечивали желтизной.

– Вон там, видишь? – прошептал он, широко раскрывая рот.

– Что? – спросил пятьсот девятый, изучая его голубоватый зев.

– Справа, сзади – золотая коронка.

Ломан повернул голову к свету, в сторону узкого окошка. В него сейчас заглядывало солнце, освещая эту сторону барака слабым розоватым мерцанием.

– Да, – сказал пятьсот девятый. – Вижу.

На самом деле он ничего не видел.

– Выньте ее.

– Что?

– Выньте ее, – прошипел Ломан нетерпеливо.

Пятьсот девятый глянул на Бергера. Тот покачал головой.

– Она же прочно сидит, – сказал пятьсот девятый.

– Тогда рвите вместе с зубом. Зуб наверняка слабый. Бергер запросто вырвет. У себя-то в крематории рвет. А вдвоем вы тем более управитесь.

– Зачем ты хочешь его вырвать?

Веки Ломана приподнялись и тут же медленно опустились. Были они, как пленка на жабьих глазах, – совершенно без ресниц.

– Будто сами не знаете. Золото. Купите себе жратвы. Лебенталь вам его обменяет.

Пятьсот девятый не ответил. Менять золотую коронку – штука опасная. При поступлении заключенного в лагерь все золотые пломбы, а тем более коронки тщательно регистрировались, а в случае смерти перед кремацией столь же тщательно изымались. Если СС обнаружит недостачу коронки, которая значится в реестре, – за такое ответит весь барак. Никто не получит ни крошки еды, покуда коронку не вернут. А того, кто ее припрятал, непременно повесят.

– Выньте ее, – пыхтел Ломан. – Это же легко. Возьмите клещи. Проволокой тоже можно.

– У нас нет клещей.

– Тогда проволокой! Сделаете петельку – и порядок.

– Проволоки у нас тоже нет.

На глаза Ломана снова упала пленка век. Силы его иссякали. Губы шевелились, но язык уже не выговаривал слова. Все его тело плоско обмякло, и только в трепете черных, иссохших губ еще сосредоточился крохотный бурунчик жизни, сопротивлявшийся свинцовому оцепенению.

Пятьсот девятый выпрямился и взглянул на Бергера. Видеть их лица Ломан не мог – между ними и Ломаном были теперь дощатые нары.

– Как его дела?

– Шансов никаких.

Пятьсот девятый кивнул. Смерть была здесь столь частой гостьей, что скорби хватало лишь на такой вот кивок. Пыльная полоса солнечного света выхватывала из темноты пятерых лагерников, что – ни дать ни взять голодные обезьяны – устроились на верхних нарах.

– Скоро он там перекинется? – спросил один, почесывая под мышками и зевая.

– А тебе-то что?

– Так нам лежак его занимать. Кайзеру и мне.

– Получишь, получишь ты свой лежак.

Говоря это, пятьсот девятый поднял голову и какое-то время смотрел вверх, на зыбкую полоску света, которая так не вязалась с затхлым воздухом барака. Кожа того, который ждал смерти Ломана, напоминала шкуру леопарда – вместе с лучами солнца на нее легли и черные пятна с оконного стекла. «Леопард» сунул в рот пригоршню гнилой соломы и стал жевать. Несколькими лежаками дальше что-то не поделили двое доходяг: раздались пронзительные, тонкие крики и вялые, бессильные шлепки.

Пятьсот девятый ощутил слабое шевеление под коленкой – это Ломан дергал его за штанину. Он снова наклонился.

– Выньте ее! – шептал Ломан.

Пятьсот девятый присел с краю на нары.

– Мы ничего не сможем на нее обменять. Слишком рискованно, понимаешь? Никто не пойдет на это.

Рот Ломана судорожно задергался, с трудом выталкивая слова.

– Им она не должна достаться, – бормотал он через силу. – Только не им. Я платил сорок пять марок. В двадцать девятом. Только не этим! Выньте!

Внезапно он скорчился и застонал. Кожа лица подернулась морщинами только в уголках глаз и губ – других мускулов, чтобы отреагировать на боль, на лице не осталось.

Немного погодя он снова вытянулся на нарах. Из груди его исторгся тяжкий стон боли и стыда.

– Да не думай ты об этом, – утешил его Бергер. – Вода у нас еще есть. Эка важность. Подотрем.

Некоторое время Ломан лежал тихо.

– Обещайте мне, что вы ее вынете, прежде чем меня унесут, – прошептал он затем. – Когда я очокурюсь. Уж это-то вы можете.

– Ладно, – сказал пятьсот девятый. – Ее не регистрировали, когда тебя брали?

– Нет. Обещайте! Только наверняка!

– Обещаем. Наверняка.

Глаза Ломана снова подернулись пеленой, потом успокоились.

– А что это было там – недавно?

– Бомбы, – ответил Бергер. – Город бомбили. В первый раз. Американцы.

– О-о!

– Да, – сказал Бергер тихо, но твердо. – Возмездие все ближе. За тебя, Ломан, тоже отомстят.

Пятьсот девятый мгновенно поднял глаза. Но Бергер стоял так, что лица его не было видно – только руки. Пальцы их сейчас то сжимались, то снова разжимались, словно душат чью-то невидимую глотку – отпускают и снова принимаются душить.

Ломан лежал неподвижно. Он закрыл глаза и, казалось, уже не дышит. Пятьсот девятый так и не понял, дошло до него то, что сказал Бергер, или нет.

Он встал.

– Ну что, помер? – спросил арестант с верхних нар. Он все еще чесался. Четверо других сидели рядом с ним как неживые. Глаза у всех были совершенно без выражения.

– Нет. – Пятьсот девятый повернулся к Бергеру. – Зачем ты ему это сказал?

– Зачем? – Лицо Бергера передернулось. – Затем. Будто сам не понимаешь.

Солнечный свет окутывал его круглую голову розоватым облачком. В смрадном, удушливом воздухе барака казалось, что от головы идет пар. Глаза влажно блестели. В них стояли слезы, но от хронического воспаления глаза у Бергера слезились постоянно. Конечно, пятьсот девятому нетрудно было понять, что имел в виду Бергер. Но какое в этом утешение для умирающего? А может, наоборот, ему от этого только хуже? Тут он увидел, как прямо на серый, неподвижный зрачок одного из четверых, что рядом застыли на верхних нарах, уселась муха – тот даже не сморгнул. Может, все-таки утешение, подумал пятьсот девятый. Последнее утешение для того, кто уходит отсюда в мир иной.

Бергер повернулся и начал протискиваться по узкому проходу в глубь барака. Ему пришлось перешагивать через спящих на полу. Со стороны казалось – аист разгуливает по болоту. Пятьсот девятый двинулся за ним.

– Бергер! – позвал он шепотом, когда они выбрались из прохода.

Бергер остановился. Пятьсот девятый вдруг запыхался.

– Ты правда в это веришь?

– Во что?

Пятьсот девятый не решился повторить слова Бергера вслух. Ему казалось, сделай он это, и смысл улетучится.

– В то, что ты Ломану сказал. – Бергер глянул ему в глаза.

– Нет, – отрезал он.

– Нет?

– Нет. Я не верю.

– Но тогда... – Пятьсот девятый прислонился к ближайшим нарам. – Тогда зачем ты ему это сказал?

– Я сказал для Ломана. Но сам не верю. Никто не будет отомщен. Никто, никто, никто.

– А город? Ведь он горит!

– Город горит, верно. Столько городов уже сгорело. Но это ничего не значит, равным счетом ничего.

– Да нет же! Ведь должна быть...

– Ничего! Ничего! – продолжал шептать Бергер с яростным отчаянием, изо всех сил отгоняя от себя заведомо безумную надежду. Его бледный череп яростно мотался из стороны

в сторону, с красных век текли обильные слезы. – Ну, горит какой-то городишко, дальше что? Нам-то что до этого! Ничего! Ничего не изменится! Ничего!

– Только расстреляют кое-кого, и все дела, – добавил сидящий на полу Агасфер.

– Заткнись! – взвыл все тот же голос из темноты. – Да заткнете вы когда-нибудь свои мерзкие пасти или нет, черт вас всех подери!

Пятьсот девятый сидел на своих нарах, прислонившись к стенке. Место у него было хорошее – прямо над головой одно из немногих барачных окон. Окно хоть и узкое, и высоко под потолком, но в этот час пропускало немного солнышка. Свет добирался отсюда только до третьего яруса нар, ниже было темно круглые сутки...

Барак этот соорудили только год назад. Пятьсот девятый сам помогал его ставить, он тогда еще числился в Рабочем лагере. Это был старый деревянный барак из расформированного концлагеря в Польше. Четыре таких барака однажды в разобранном виде прибыли на товарную станцию города, там были погружены на грузовики, доставлены в лагерь и благополучно установлены. Они провоняли клопами, страхом, грязью и смертью. Они-то и положили начало Малому лагерю. Следующий же этап непригодных к работе, умирающих доходяг с востока затолкали в эти бараки и бросили там на произвол судьбы. Прошло всего несколько дней, и смерть выгребла их подчистую. С тех пор так и повелось: всех немощных больных, калек и непригодных к работе запикивали сюда.

Солнце отбросило изломанный прямоугольник света на кусок стены справа от окна. На нем проступили поблекшие от времени письмена. Это были надписи и имена прежних обитателей барака – тех, кто сидел в нем в Польше, потом на востоке Германии. Разные это были надписи – иные просто нацарапаны карандашом, иные же врезаны в дерево поглубже куском проволоки или гвоздем.

Многие из них пятьсот девятый помнил наизусть. Он знал, к примеру, что сейчас вверху прямоугольника выползло из темноты имя, обведенное глубокой рамочкой, – «Хайм Вольф, 1941». Видимо, Хайм Вольф запечатлел его на стене в тот час, когда понял, что смерть близка, вот и обвел имя глубокими штрихами, чтобы никто не присоединился. Он хотел увековечить себя здесь раз и навсегда, чтобы один он на этом кусочке стены был и остался, «Хайм Вольф, 1941» – и цепочка черточек вокруг, чтобы ни одно имя больше сюда не вписалось; это отец в последний раз заклинал судьбу, надеясь хоть так спасти своих сыновей. Но под его именем, под рамочкой, вплотную, словно стараясь уцепиться за него, стояли еще два имени: «Рубен Вольф» и «Мойша Вольф». Первое написано угловатым, неровным ученическим почерком, второе – наискосок и гладко, но как-то покорно и почти без нажима. А другой рукой рядом написано: «Все в газовой камере».

Прямо под ними поверх узловатого сучка в древесине кто-то выцарапал гвоздем: «Йоз. Майер», а рядом: «Л-нт рез. ЖКІ и II». Это означало: лейтенант резерва, кавалер Железного креста I и II степеней. Видимо, Майер никак не мог об этом забыть. Наверно, мысль об этих злосчастных побрякушках отравила его последние дни. В Первую мировую он был на фронте, там стал офицером, был награжден; чтобы получить награду, ему, еврею, наверняка пришлось отбарабанить вдвое больше, чем любому другому. А много лет спустя и тоже только за то, что он еврей, его сперва бросили за решетку, а потом отравили, как вредное насекомое. Несомненно, он был убежден, что по отношению к нему, лично к нему, совершена куда большая несправедливость, чем к кому-то другому, ведь он фронтовик и кавалер боевых орденов. Он ошибся.

Награды и отличия не облегчили ему смерть, скорей наоборот. В буковках, что он приписал к своему имени, запечатлелась не столько чудовищная несправедливость судьбы, сколько ее жалкая ирония.

Солнечный прямоугольник двигался дальше. Хайм, Рубен и Мойша Вольфы, которых он задел лишь верхним краем, снова исчезли в темноте. Зато на свет выползли две новые надписи. Одна состояла вообще только из двух букв: «Ф.М.». Тот, кто нацарапал ее гвоздиком, видимо, не придавал такого значения своей персоне, как лейтенант Майер. Даже собственное имя было ему уже почти безразлично, и все-таки не хотелось сгинуть просто так, совсем без следа. Но под этими инициалами опять стояло полное имя. Простым карандашом там было аккуратно выведено: «Тевье Лейбеш с семьей». А рядом, уже торопливо, начало еврейской молитвы каддиш: «Jis gadal...»¹.

Пятьсот девятый знал – еще несколько минут, и свет доберется до следующей затертой надписи: «Напишите Лее Зандере, Нью-Йорк», – дальше, неразборчиво, название улицы, потом «Оте...» – и, перескочив прогнившую щепку, «...умер. Найдите Лео». Видимо, Лео каким-то образом удалось ускользнуть. Но все равно автор надписи старался зря. Ни один из обитателей барака не сможет ничего сообщить Лее Зандере в Нью-Йорк. Просто ни один не выйдет отсюда живым.

Пятьсот девятый невидящим взглядом продолжал смотреть на стену. Поляк Зильбер, когда умирал здесь с кишечным кровотечением, назвал ее стеной плача. Он, кстати, большинство имен на стене знал наизусть и вначале, покуда находились желающие, на спор угадывал, какое имя следующим осветит солнечное пятно. Вскоре Зильбер умер, а вот письма по ясным дням все еще пробуждались на несколько минут к своей призрачной жизни, чтобы потом снова сгинуть во тьме. Летом, когда солнце стояло выше, на свет появлялись другие имена, те, что начертаны пониже, зимой же прямоугольник перемещался почти под потолком. А сколько еще русских, польских, еврейских имен оставалось в полной безвестности, ибо свет не добирался до них никогда! Барак устанавливали в такой спешке, что эсэсовцы даже не подумали обстругать или хотя бы закрасить стены. Обитателей барака, впрочем, надписи тоже занимали мало, особенно те, что оказались в темных углах. Эти даже и разбирать никто не пытался. Да и кому, спрашивается, взбрет в голову изводить драгоценную спичку только ради того, чтобы еще больше впасть в отчаяние.

Пятьсот девятый отвернулся – не было сил больше на это смотреть. Странно, он вдруг ощутил какое-то особое одиночество, словно все вокруг почему-то отделилось от него и перестали его понимать. Минуту-другую он колебался, потом не выдержал. Почти на ощупь добрался до двери и снова выполз на улицу.

На нем теперь были только его собственные лохмотья, он мгновенно замерз. За порогом он встал, выпрямился и, прислонившись к стене барака, посмотрел на город. Почему-то – он и сам не знал почему – не хотелось больше ползать на четвереньках, хотелось стоять. Сторожевые вышки вокруг Малого лагеря все еще пустовали. Впрочем, охрана в этой части зоны никогда не отличалась особым рвением, что и понятно: кто едва ползает, тот не сбежит.

Пятьсот девятый стоял у правого угла барака. Лагерь расположился у подножия холмистой гряды как бы по дуге, так что отсюда хорошо просматривался не только город, но и эсэсовские казармы. Они аккуратным рядом выстроились по ту сторону колючей проволоки, за деревьями, но деревья в эту пору еще стоят без листьев. Было хорошо видно, как мечутся там эсэсовцы, перебегая от дома к дому. Другие, сбившись в кучки, взволнованно смотрели на город и что-то обсуждали. Из-под горы выскочил длинный серый лимузин. Он подкатил к домику коменданта, что расположен чуть на отшибе, и остановился. Сам Нойбауэр уже ждал на крыльце, тотчас сел в машину, и та рванула с места. Еще по рабочему лагерю пятьсот девятый знал, что у коменданта в городе свой дом, где и обитает его семейство. Поэтому он пристально следил, куда же так торопится серый автомобиль. И так увлекся, что не расслышал чьих-то тихих шагов по дорожке между бараками. Это был староста двадцать второго барака Хандке,

¹ «Да возвеличится...» (иврит). – Здесь и далее примеч. пер.

приземистый коренастый мужичонка с вкрадчивой кошачьей походкой. Он носил зеленую нашивку уголовника. Трезвый он был безобиден, но во хмелю становился просто бешеным и уже многих изувечил.

Староста подходил не торопясь. Пятьсот девятый еще мог бы попробовать смыться, когда увидел его – такие внешние проявления испуга обычно вполне удовлетворяли Хандке, – но не стал этого делать. Остался стоять.

– Ты что тут делаешь?

– Ничего.

– Ничего, значит. – Хандке сплюнул прямо к ногам пятьсот девятого. – Ах ты, говнюк! Или, может, размялся? – Его белесые брови поползли вверх. – Не воображай и даже думать забудь! Уж вы-то отсюда не выберетесь. Уж вас-то, ублюдков политических, они всегда успеют через трубу прогнать.

Он снова сплюнул и пошел обратно. Пятьсот девятый стоял ни жив ни мертв. На секунду у него даже помутилось в голове. Хандке его терпеть не мог, и обычно пятьсот девятый старался не попадаться старосте на глаза. А на сей раз почему-то остался. Он не спускал глаз со спины старосты, пока тот не исчез за уборной. Он не испугался угрозы – угроза в лагере самое обычное дело. Он пытался понять, что за этой угрозой стоит. Выходит, Хандке тоже что-то почуял. Иначе бы ничего такого не сказал. А может, он даже и прослышал что-нибудь от эсэсовцев. Пятьсот девятый перевел дух. Значит, вовсе он не идиот, и ничего ему не почудилось.

Он снова посмотрел на город. Густой черный дым стелился теперь по крышам. Сквозь него слабо пробивался испуганный перезвон пожарных колоколов. Со стороны вокзала доносилось беспорядочное бабаханье: похоже, там рвались боеприпасы. Лимузин коменданта внизу, под горой, заложил на скорости такой вираж, что его занесло. Когда пятьсот девятый это увидел, лицо его вдруг передернулось. Grimаса смеха исказила его лицо. Да, он смеялся, смеялся беззвучно, судорожно, не в силах вспомнить, когда смеялся в последний раз, не в силах остановиться, причем в смехе этом не было радости, но он смеялся, смеялся и при этом оглядывался, а потом вскинул свой бессильный кулак и сжал его что есть мочи, и все смеялся, смеялся без конца, покуда яростный приступ кашля не бросил его ничком на землю.

III

«Мерседес» мчался вниз, в долину. Оберштурмбанфюрер Нойбауэр сидел рядом с шофером. Это был тучный мужчина с рыхлым, расплывшимся лицом любителя пива. Белые перчатки на его крупных руках ослепительно отсвечивали на солнце. Он это заметил и стянул перчатки. «Сельма! – проносилось у него в голове. – Фрея! Дом! Почему телефон молчит?»

– Скорей же! – гаркнул он шоферу. – Давай, Альфред! Поднажми еще!

Уже в предместьях в нос им ударил запах гари. По мере продвижения он становился все удушливей и гуще. У Нового рынка они увидели первую воронку. Центральная сберкасса обрушилась и горела. Пожарные трудились вовсю, пытаясь спасти соседние здания, но струи их брандспойтов казались слишком тоненькими и немощными, чтобы побороть огонь. Из воронки на площади воняло серой и какими-то кислотами. Желудок у Нойбауэра начал предательски сжиматься.

– Давай в объезд, Альфред, – сказал он. – Здесь все равно не прорвемся.

Водитель повернул. Теперь они двинулись в объезд, давая крюка через южную часть города. Тут частные виллы с палисадниками мирно нежились на солнце. Ветер дул на север, так что и воздух здесь был чист и прозрачен. Но потом, едва они пересекли реку, запах гари почувствовался снова и становился все сильнее, покуда не материализовался в сизом чадном дыму, что стелился по улицам, как густой осенний туман.

Нойбауэр теребил свой ус, коротенький и такой же аккуратный, как у фюрера. Это раньше он носил подкрученные, как у кайзера Вильгельма II. Ох, если бы не эти спазмы в желудке! Сельма! Фрея! Красавец-дом! Живот, грудь – все тело превращалось в один сплошной желудок.

Им еще дважды пришлось поворачивать в объезд. В одном месте бомба попала в мебельный магазин. Переднюю стену дома как отрезало, часть мебели все еще красовалась на этажах, остальное рухнуло вниз, на мостовую, и сейчас горело. В другом месте угодило в парикмахерский салон, перед которым валялись восковые манекены, – их оплавленные лица сморщились в жутковатые гримасы.

Наконец машина свернула на улицу Либиха. Нойбауэр высунулся из окна. Вот он – его дом! И палисадник! Терракотовый карлик и красная фарфоровая такса на газоне! Все невредимо! Даже все окна целы! Спазм в желудке сразу разжался. «Повезло! – подумал он. – Чертовски, сказочно повезло! То есть вообще-то все как надо». Почему именно с ним должно было что-то случиться?

Он повесил фуражку на вешалку из оленьих рогов и прошел в гостиную.

– Сельма? Фрея? Эй, где вы там?

Никто не ответил. Нойбауэр протопал к окну и распахнул его. В саду за домом работали двое пленных русских. Они на миг подняли головы и тут же принялись усердно копать дальше.

– Эй, вы там! Большевики!

Один из русских прервал работу.

– Семья моя где? – крикнул Нойбауэр.

Пленный что-то ответил ему по-русски.

– Брось ты свою тарабарщину, идиот! Ты немецкий язык понимаешь? Или спуститься и самому тебя научить?

Русский напряженно смотрел на него, явно стараясь понять.

– Ваша супруга в подвале, – раздалось вдруг за спиной Нойбауэра.

Он обернулся. Это была их служанка.

– В подвале? Ах да, ну, конечно. А где были вы?

– На улице, я только на минутку выскочила. – Девушка стояла в дверях, лицо ее раскраснелось, глаза блестели, будто она только что со свадьбы. – Говорят, больше сотни убитых, – выпалила она. – На вокзале, на медном заводе, в церкви...

– Тихо! – прикрикнул на нее Нойбауэр. – Кто говорит?

– Ну, люди, на улице...

– Кто именно? – Нойбауэр шагнул к ней. – Провокационные слухи! Кто распускает, я спрашиваю?!

Девушка отпрянула.

– На улице. Не я. Кто-то. Все говорят.

– Изменники! Отребье! – Нойбауэр бушевал. Наконец-то он мог сбросить накопившееся напряжение. – Бандиты! Скоты! Нытики! А вы? Что вам на улице понадобилось?

– Мне... Да ничего.

– Покинули свой пост, да? Чтобы сеять панику и разносить вредные слухи? Ну ничего, мы с вами разберемся! И все проверим. Чертовски тщательно проверим! А теперь марш на кухню!

Девушка выбежала вон. Нойбауэр, пыхтя, закрыл окно. «Обошлось, – думал он. – Они всего лишь в подвале, ну, конечно. Давно бы и сам мог догадаться».

Он достал сигару и закурил. Потом одернул на себе китель, выкатил грудь колесом, глянул в зеркало и отправился вниз.

Его жена и дочь, тесно прижавшись друг к другу, сидели на кушетке у стены. Над их головами в массивной золоченой раме переливался многоцветными красками портрет фюрера.

Подвал был построен в 1940 году под бомбоубежище. В ту пору Нойбауэр затеял строительство исключительно из соображений престижа – считалось, что истинные патриоты должны в этом деле показать пример. Да и кто тогда мог всерьез предположить, что Германия подвергнется бомбардировкам? Ведь сам Геринг заявил: воздушный флот рейха не пропустит ни одного вражеского самолета, а если пропустит, пусть его, Геринга, величают тогда хоть Майером, хоть Шмидтом, хоть чайником, – и всякий честный немец вправе был полагаться на это заверение. А теперь вон как все обернулось. Типичный пример коварства жидов и плутократов – прикидываться слабаками, преуменьшая свои истинные силы.

– Бруно! – Сельма Нойбауэр медленно поднялась с кушетки, начиная всхлипывать.

Это была толстая блондинка в розовом, цвета лосося, халате французского шелка, отороченном кружевами. Халат этот Нойбауэр привез ей в 1941 году из Парижа, где был в отпуске. Ее жирные щеки тряслись, маленький рот тщетно пытался прожевать слова.

– Все уже кончилось, Сельма. Только успокойся.

– Кончилось? – Она все еще пережевывала слова, будто огромные клецки. – На... надолго ли?

– Навсегда. Они улетели. Налет отражен. Они больше не вернутся.

Сельма Нойбауэр лихорадочно стянула полы халата на своей пышной груди.

– Кто тебе это сказал, Бруно? Откуда тебе это известно?

– Да мы по крайней мере половину из них сбили. Они теперь крепко подумают, прежде чем прилететь снова.

– Откуда тебе это известно?

– Известно, и все. Сегодня-то они застигли нас врасплох. Но уж в другой раз мы их совсем по-другому встретим.

Рот жены вдруг прекратил жевать.

– Это все? – спросила она. – Это все, что ты можешь нам сказать?

Нойбауэр понимал, конечно, что несет полную околесицу.

– Разве этого недостаточно? – спросил он в ответ, слегка повышая голос.

Жена смотрела на него в упор. Ее светло-голубые водянистые глаза глядели тяжело и неподвижно.

– Нет! – завизжала она вдруг. – Этого недостаточно! Все это чушь, и ничего больше! Чего нам только не обещали? Сперва нас уверяют, будто мы настолько сильны, что ни один вражеский самолет не появится в небе Германии – а они все-таки появляются. Тогда говорят – они больше не вернуться, потому что мы отныне будем их сбивать прямо над границей, – а вместо этого их прилетает в десять раз больше, и воздушную тревогу объявляют каждый день. И вот в довершение всего они уже бросают бомбы прямо на нас, а ты приходишь как ни в чем не бывало и заявляешь: они больше не прилетят, в следующий раз мы им покажем! Сам посуди, нормальный человек может этому верить?

– Сельма! – Нойбауэр невольно бросил взгляд на портрет фюрера. Потом подскочил к двери и захлопнул ее. – Черт подери! Возьми себя в руки! – зашипел он. – Ты что, погубить нас всех хочешь? С ума сошла так орать?

Он подошел к ней вплотную. Над ее толстыми плечами фюрер по-прежнему устремлял свой отважный взор на ландшафты Берхтесгадена². На секунду Нойбауэр и вправду готов был поверить, что вождь все слышал.

Но Сельма на вождя не смотрела.

– С ума сошла? – визжала она. – Кто сошел с ума? Я? Нет уж, дудки. Как замечательно мы жили до войны! А теперь что? Что теперь? Еще неизвестно, кто сошел с ума.

Нойбауэр обеими руками схватил ее за плечи и стал трясти так, что только голова болталась. Волосы у нее распустились, гребешки и заколки полетели на пол, она поперхнулась и закашлялась. Наконец он ее выпустил. Она мешком повалилась на кушетку.

– Что на нее нашло? – спросил он дочь.

– Да ничего особенного. Просто переволновалась.

– Но почему? Ничего ведь не случилось.

– Ничего не случилось! – снова взвилась жена. – С тобой – то, конечно, там, наверху! А мы здесь, одни...

– Тихо, черт возьми! Не ори так! Я не для того пятнадцать лет оттрубил, чтобы ты своим визгом все мне порушила. Думаешь, мало охотников на мое место зарятся?

– Это первая бомбежка, папа, – невозмутимо заметила Фрея Нойбауэр. – До этого ведь только воздушные тревоги были. Мама привыкнет.

– Первая? Конечно, первая, какая же еще! Радоваться надо, что раньше ничего не случилось, а не устраивать дурацкий крик.

– Мама нервная очень. Но ничего, привыкнет.

– Нервная? – Спокойствие дочери как-то сбивало Нойбауэра с толку. – А кто не нервный? Может, думаешь, у меня нервы железные? Но надо держать себя в руках. Иначе знаешь, что может быть?

– Да то же самое! – Жена его смеялась. Она лежала на кушетке, неуклюже раскинув толстые ноги. Из-под халата выглядывали розовые домашние тапочки, тоже шелковые. Розовый шелк – в ее понимании это был верх элегантности. – Нервная! Привыкнет! Тебе хорошо говорить!

– Мне? То есть как?

– А с тобой ничего не случится.

– Как?

– С тобой ничего не случится. Это мы здесь сидим, как в мышеловке.

– Что за вздор ты несешь? Какая разница? Как это со мной ничего не случится?

– Ты-то в своем лагере в полной безопасности.

² Курортный район в Альпах, над которым располагалась знаменитая резиденция Гитлера – Орлиное Гнездо.

– Что? – Нойбауэр даже бросил сигару и придавил ее каблуком. – Да у нас таких подвалов в помине нет!

Насчет подвалов он, конечно, приврал.

– Потому что они вам и не нужны! Вы же за городом.

– Какое это имеет значение? Бомба – дура, ей все равно, куда падать.

– Лагерь они бомбить не станут.

– Ах вон что. Это уже что-то новенькое. Откуда тебе это известно? Что, может, американцы сбросили тебе такую листовку? Или специально для тебя передали по радио?

Нойбауэр покосился на дочь. Он ждал одобрения за такую удачную шутку. Но Фрея только теребила бахромку плюшевой скатерти, которой был накрыт стол возле кушетки. Зато жена и не думала молчать.

– Своих они бомбить не будут.

– Не говори ерунды! У нас там американцев вообще нет. И англичан тоже. Одни русские, поляки, всякий балканский сброд, ну и свои враги народа – немцы да еще жида, предатели и душегубы.

– Они не будут бомбить ни русских, ни поляков, ни евреев, – проговорила Сельма с тупым упорством.

Нойбауэр резко обернулся.

– Ты, как я погляжу, очень много всего знаешь, – сказал он тихо, но с тем большей яростью в голосе. – А теперь послушай, что я тебе скажу. Они там, в самолетах, вообще не знают, что это за лагерь, понятно? Они сверху видят только бараки на горе. А что за бараки – они не знают, может, военный склад, может, еще что. Они видят казармы. Это казармы наших частей СС. Они видят здание, где работают люди. Для них это фабрики, то есть цели. Там, на горе, во сто крат опасней, чем здесь. Потому я и не хотел, чтоб вы туда переезжали. Здесь-то, внизу, по соседству с вами ни фабрик, ни казарм. Поймешь ты это наконец или нет?

– Нет.

Нойбауэр уставился на жену. Такой он свою Сельму еще никогда не видел. Он не мог понять, какая муха ее укусила. Вряд ли это только от страха, не настолько уж она напугана. Он вдруг почувствовал обиду: семья отворачивается от него. С досадой перевел глаза на дочь:

– Ну а ты? Ты что думаешь? Молчишь, как воды в рот набрала.

Фрея Нойбауэр встала. Тощая, желтоватая с лица, с большим, выпуклым лбом, она в свои двадцать лет не похожа ни на Сельму, ни на отца.

– По-моему, мама уже успокоилась, – только и сказала она.

– Что? Ты о чем?

– По-моему, мама уже успокоилась.

Секунду Нойбауэр молчал. Он ждал, не скажет ли жена еще чего-нибудь.

– Ну ладно, – проговорил он наконец.

– Нам можно подняться? – спросила Фрея.

Нойбауэр недоверчиво покосился на Сельму. В жене он не уверен. Надо втолковать: ей просто нельзя ни с кем общаться. Даже со служанкой. Со служанкой в особенности. Но дочь его опередила.

– Наверху будет лучше, папа. Воздуха больше.

Он все еще стоял, не зная, как быть. «Ишь, развалилась, как мешок муки, – неприязненно подумал он. – Нет бы сказать хоть что-то разумное».

– Мне надо зайти в ратушу к шести. Диц звонил, требует срочно обсудить положение.

– Все будет в порядке, папа. Ничего не случится. Нам ведь тоже еще надо ужин приготовить.

– Ну хорошо. – Нойбауэр наконец на что-то решился. По крайней мере дочь не теряет голову. Хотя на нее положиться можно. Его кровь, его плоть. Он подошел к жене. – Ну хорошо.

Забудем, Сельма, идет? Как говорится, и на старуху бывает проруха. В конце концов, не так уж это и важно. – Сверху вниз, с улыбкой, но холодными глазами смотрел он на жену. – Ну так как? – спросил он снова.

Она не откликнулась.

Он обхватил ее за жирные плечи и даже слегка погладил.

– Тогда вот что: отправляйтесь-ка наверх и приготовьте ужин. Хорошо бы что-нибудь вкусненькое, после такой-то встряски, а?

Сельма равнодушно кивнула.

– Вот так-то лучше. – Теперь Нойбауэр убедился, что худшее позади. Его дочь, конечно же, права. Сельма успокоится и больше не будет молоть всякий вздор. – Правда, девочки, приготовьте что-нибудь повкусней. В конце концов, Сельмочка, я ведь только ради вашего же блага хочу, чтобы вы жили тут, в этом красивом доме, с надежным подвалом, а не там, по соседству с головорезами. Я и сам тут регулярно ночую по несколько раз в неделю, ты же знаешь. Мы же все заодно. Так что и держаться надо вместе. Давайте, правда, приготовьте хороший ужин. Тут я на вас полностью полагаюсь. И кстати, достаньте-ка из погреба бутылку того французского шампанского, помните? У нас ведь еще много этого добра, верно?

– Да, – отозвалась жена. – Этого добра у нас еще много.

– И последнее, – отчеканил под конец группенфюрер Диц. – До меня дошли слухи, будто некоторые господа высказывали намерение вывезти свои семьи из города. Хотелось бы знать, насколько это в самом деле так?

Никто не ответил.

– Этого ни в коем случае нельзя допустить. Мы, офицеры СС, должны быть образцом во всем. И если мы начнем вывозить семьи из города прежде, чем будет отдан общий приказ об эвакуации, это может быть в корне неверно истолковано. Нытикам и маловерам это даст почву для всякого рода пересудов. Посему я вправе ожидать, что без моего ведома ничего подобного не произойдет.

Он стоял перед своими офицерами, рослый, статный, в элегантно пошитой форме, обводя глазами всех по очереди. Каждый из подчиненных отвечал ему преданным и открытым взглядом. И почти каждый прикидывал в мыслях, куда бы поскорее увезти семью, хотя виду не подавал. А еще каждый думал примерно вот что: «Дицу легко произносить речи – у самого-то семья не здесь. Он родом из Саксонии, и у него в жизни одна забота: выглядеть, как подобает прусскому гвардейскому офицеру. Велика премудрость! А рисковать чужими жизнями – это всякий мастак».

– На сегодня все, господа, – произнес Диц. – Хочу напомнить вам еще раз: наше новейшее секретное оружие уже на конвейере. По сравнению с ним снаряды «Фау-1» – просто игрушка, хотя и они весьма эффективны. Лондон лежит в руинах. Вся Англия под непрерывным обстрелом. Мы удерживаем главные порты Франции. Десантные части противника испытывают огромные трудности со снабжением. Наш встречный удар сметет неприятеля в море. И удар этот не заставит себя долго ждать. Мы накопили очень мощные резервы. А наше новое оружие... Я не могу ничего разглашать, но вот вам информация с самого верха: через три месяца победа будет наша. Так что только три месяца надо продержаться. – Он выбросил вперед руку. – За работу! Хайль Гитлер!

– Хайль Гитлер! – прогрохотало в ответ.

Нойбауэр выходил из ратуши. «О России Диц ничего не сказал, – размышлял он. – О Рейне тоже ничего. О прорванном Западном вале и подавно. «Продержаться!» Ему легко говорить. У него тут нет имущества. Он фанатик. Вот если бы он владел, как я, доходным домом возле вокзала. Или был пайщиком «Меллернской газеты». У него тут ни кола ни двора. А у меня все. И если все взлетит на воздух – у меня гроша за душой не останется».

На улице вдруг оказалось полно народу. Площадь перед ратушей была забита битком. На парадной лестнице уже устанавливали микрофон. Значит, Диц будет говорить речь. С фасада на площадь с невозмутимой улыбкой взирали каменные физиономии Карла Великого и Генриха Льва. Нойбауэр сел в «мерседес».

– На улицу Геринга, Альфред, – скомандовал он.

Доходный дом Нойбауэра стоял на углу улицы Геринга и аллеи Фридриха. Это было солидное здание, в нижнем этаже которого разместился салон модного платья. Два верхних этажа были сданы под конторы.

Нойбауэр велел водителю остановиться, вылез и обошел здание. Два стекла в витрине треснули, больше вроде бы никаких повреждений. Он глянул на окна верхних этажей. Они тонули в смрадном тумане дыма с вокзала, но в его доме ничего не горело. Может, там тоже лопнуло несколько стекол, но это и весь ущерб.

Некоторое время он постоял перед домом. Двести тысяч марок, думал он. Вот сколько стоил этот дом, если не больше. А заплатил он за него пять тысяч. В тридцать третьем доме принадлежал жиду Йозефу Бланку. Тот запросил сто тысяч и еще скулил, будто и так очень много теряет и дешевле ни за что не отдаст. Но после двух недель в концлагере продал за пять тысяч как миленький. «Я еще очень порядочно вел себя, – рассуждал Нойбауэр. – Мог бы вообще получить бесплатно. Бланк сам бы подарил мне этот дом, если бы СС с ним чуток позабавилась. А я ему целых пять тысяч дал. Приличные деньги. Правда, не сразу – у меня столько и не было тогда. Но как только первую арендную плату собрал, все и выплатил. Бланк и с этим, кстати, согласился. Так что вполне законная купля-продажа. Законно и добровольно. Заверено у нотариуса. А что Йозеф Бланк в концлагере неудачно упал, потеряв при этом глаз, сломав руку и еще кое-где поранившись, так это был несчастный случай. У кого плоскостопие, тот вообще легко падает». Нойбауэр ничего такого не приказывал. Его и не было при этом даже. Он всего лишь распорядился взять Бланка под охранный арест, чтобы слишком ретивые молодчики из СС ничего над ним не сотворили. Ну а уж остальное было по части Вебера, начальника режима.

Он обернулся. С чего это вдруг всякое старье в голову лезет? Что это с ним, в самом деле? Это все давно быльем поросло. Жить-то нужно. Не он, так кто-нибудь другой из партийцев прибрал бы к рукам этот дом. За меньшую сумму. А то и просто за так. А он купил, легально. Все по закону. Фюрер сам сказал: верные солдаты партии должны получить вознаграждение. Да и что те крохи, которые он, Нойбауэр, успел урвать, в сравнении с тем, что нахапали бонзы? Геринг, к примеру, или вон Шпрингер, их гауляйтер, прошедший путь от гостиничного вышибалы до миллионера. Нойбауэр никого не ограбил. Просто удачно купил. Все шито-крыто. У него все квитанции на руках. С печатями.

Над вокзалом вскидывались столбы пламени. То и дело слышались взрывы. Наверно, вагоны с боеприпасами. В прыгающих красноватых отблесках стены дома вдруг показались влажными, словно покрытыми кровавой испариной. «Что за чушь! – подумал Нойбауэр. – Что-то и впрямь нервы шалят». Этих жидовских адвокатов, что тогда с верхнего этажа пришлось выкуривать, давно уже и не помнит никто. Он уселся в машину. Слишком близко к вокзалу! Коммерчески-то это выгодно, но при бомбежках оказалось чертовски опасно, станешь тут нервный.

– На Большую, Альфред!

Здание «Меллернской газеты» совершенно не пострадало. Нойбауэр уже узнавал об этом по телефону. Как раз вынесли экстренный выпуск. Газеты рвали у разносчиков из рук. Толстые пачки таяли прямо на глазах. Один пфенниг от каждого проданного экземпляра полагался ему, Нойбауэру. Все новые разносчики выходили из редакции с пачками газет. Они вскакивали на велосипеды и стремительно уезжали. Экстренный выпуск – это и экстренный заработок. У каждого разносчика не меньше двухсот газет. Нойбауэр насчитал семнадцать разносчиков.

Это тридцать четыре марки. Как говорится, худа без добра не бывает. Этими деньгами он хоть частично покроет замену витринных стекол. Глупости! Стекла ведь застрахованы. Так-то оно так, только заплатит ли агентство? Сможет ли заплатить – при таких-то разрушениях? Заплатят! Уж ему-то как пить дать заплатят! Так что тридцать четыре марки – это чистая прибыль.

Он купил экстренный выпуск. Короткое воззвание Дица уже было напечатано. Быстро сработали! Рядом сообщение, что два вражеских самолета сбиты над городом, еще несколько – над Минденом, Оснабрюком и Ганновером. Статья Геббельса – о бесчеловечности и варварстве врага, подвергающего бомбардировкам мирные немецкие города. Несколько основополагающих изречений фюрера. Заметка о том, что отряды гитлеровской молодежи уже ищут вражеских летчиков, выпрыгнувших с парашютами. Нойбауэр отбросил газету и направился к табачной лавчонке на углу.

– Три «Немецких стража», – попросил он.

Продавец раскрыл перед ним коробку. Нойбауэр равнодушно выбрал. Сигары все равно плохие. Сплошной буковый лист. Дома у него есть кое-что получше, импортный товар, из Парижа, из Голландии. Он спросил «Немецких стражей» только потому, что лавчонка – тоже его собственность. До перехода власти она принадлежала жидам-эксплуататорам Лессеру и Захту, была такая фирма. Тогда, в тридцать третьем, на нее наложил лапу штурмфюрер Фрайберг. И владел до тридцать шестого. Золотое дно. Нойбауэр откусил кончик «Немецкого стража». Кто же виноват, что Фрайберг в подпитии позволил себе в предательском духе высказаться против фюрера? Его, Нойбауэра, прямой партийный долг состоял в том, чтобы сообщить об этом куда следует. Фрайберг вскоре сгинул, а Нойбауэр откупил у его вдовы лавчонку. В порядке дружеской услуги. Он сам ей и посоветовал продать, причем немедленно. По его сведениям, все имущество Фрайберга подлежало конфискации. А деньги все-таки проще припрятать, чем магазинчик. Конечно, вдова была благодарна. Продала. Понятное дело, за четверть цены. А как еще, если наличных у Нойбауэра больше не было, а дело-то срочное? Она все поняла и согласилась. До конфискации, правда, потом так и не дошло. Нойбауэр и это ей растолковал. Просто он по дружбе употребил свое влияние. Так что деньги ей остались. А он даже порядочно поступил. Долг есть долг, а лавчонку и впрямь могли конфисковать. Кроме того, одинокая вдова не в состоянии держать лавчонку. Конкуренты вынудили бы ее продать еще дешевле.

Нойбауэр вынул сигару изо рта. Не тянется. Дерьмо, а не табак. Но люди платят. Кидаются на все, чем можно дымить. Жаль, право, что табак по карточкам. Можно было бы вдесятеро оборот увеличить. Он еще раз взглянул на лавчонку. Повезло. И эта цела. Он сплюнул. Почему-то во рту гадкий привкус.

От сигары, наверно. А может, еще от чего? Да ведь ничего же не случилось. Нервы сдают? К чему вспоминать все эти старые истории? Давно былшем поросло. Снова залезая в машину, он выбросил сигару, а две другие протянул шоферу.

– Держи, Альфред. Это тебе на вечер. А теперь в сад.

Сад был гордостью Нойбауэра. Это был солидный участок земли на окраине города. Большая часть была занята под овощи-фрукты, но имелся еще и цветник, и скотный двор. Несколько пленных русских содержали здесь безупречный порядок. Хозяину они не стоили ничего, а если начистоту, то еще сами могли бы Нойбауэру приплачивать. Чем корячиться по двенадцать – пятнадцать часов около медеплавильной печи, они тут выполняли легкую работу на свежем воздухе.

Сад был уже укутан сумерками. Небо в этой стороне города было прозрачное, в кронах яблонь застряла луна. От вспаханной земли шел густой, пряный дух. В бороздах уже пробились первые ростки, а на фруктовых деревьях набухли крупные клейкие почки. Маленькая японская

вишня, что зимовала в оранжерее, уже красовалась в бело-розовой дымке застенчивых, едва раскрывшихся цветков.

Русские работали на другом конце участка. Нойбауэр разглядел отсюда их темные, понурые спины и силуэт часового с винтовкой, примкнутый штык которой грозно буравил небо. Часовой-то нужен лишь для проформы, русские никуда не убегут. Да и куда им бежать – в арестантских робах, не зная языка? Рядом с ними виднелся большой бумажный мешок – пепел из крематория, который они засыпали в борозды. Они сейчас работали на грядках для спаржи и клубники, – лакомств, к которым Нойбауэр питал особую слабость. Клубникой и спаржей он готов лакомиться всю жизнь. В бумажном мешке был пепел шестидесяти человек, в том числе двенадцати детей.

Сквозь ранние сливово-сизые сумерки бледно мерцали первые примулы и нарциссы. Они росли у южной ограды под стеклом. Нойбауэр открыл одну из створок теплицы и склонился над цветами. Нарциссы не пахли. Но зато фиалки, невидимые в полумраке, источали упоительный аромат.

Он вдохнул полной грудью. Это его сад. Он сам его купил, сам за него расплачивался. Почестному, как в старину. За полную цену. И ни у кого не отбирал. Вот тут, тут его место. Место, где он становился человеком, – после забот суровой службы на благо отчизны и повседневных тревог о домочадцах. Он блаженно посмотрел вокруг. Оглядев беседку, увитую жимолостью и дикой розой, он окинул взглядом живую изгородь из бука, искусственный грот из известнякового туфа, кусты сирени, втянул в себя пряный воздух, уже пахнущий весной, ласково провел рукой по укутанным соломой стволам персиков и груш у стены, а потом открыл калитку на скотный двор.

Он не пошел к курам, что, как старые бабки, вечно сидят на своем насесте, не пошел и к двум пороссятам, что спали в соломе, – он напрямик отправился к кроликам.

Кролики были ангорские, белые и серые, с длинным шелковистым мехом. Когда он включил свет, они еще спали и не сразу начали шевелиться. Он просунул палец в проволочную ячейку и пощекотал кроличью шерстку. Ничего мягче он в жизни не встречал. Он достал из стоявшей рядом корзиночки капустный лист и нарезанную морковку и просунул корм в клетку. Кролики тут же подошли и принялись уплетать лакомство своими розовыми губками, неспешно и аккуратно.

– Муки, – ласково позвал он, – поди сюда, Муки...

Душное тепло крольчатника убаюкивало. Оно походило на какой-то давний сон. Запах зверей возвращал сознанию давно забытую невинность. Это был свой маленький мир, свое, почти растительное бытие, отрешенное от всего – от бомбежек, интриг, лютой борьбы за существование, – только морковка, капустный лист, пушистое жаркое зачатие, время от времени стрижка, появление потомства. Ни одного кролика он не разрешил зарезать.

– Муки, – снова позвал он.

Большой белый кролик-самец нежными губами взял у него из рук лист капусты. Красные глаза поблескивали, как светлые рубины. Нойбауэр почесал его за ухом. Наклоняясь, услышал, как скрипнули на нем хромовые сапоги. Как там Сельма сказала? В безопасности? Вы там в лагере в безопасности? Кто и где сейчас в безопасности? И был ли вообще когда-нибудь?

Он просунул побольше капустных листьев в ячейки клетки. «Двенадцать лет, – думал он. – До переворота я был секретарем почты и получал каких-то двести марок в месяц. На эти деньги хоть живи, хоть подыхай. Теперь вот я кое-что нажил. И не хочу все снова потерять».

Он глянул в красные глаза кролика. Сегодня все обошлось. И дальше будет обходиться. А бомбить ведь могли и по недоразумению. Такое часто бывает, особенно когда вводят в дело новые силы. Город-то никому не нужен, иначе давно бы уже начали бомбить. Нойбауэр чувствовал, как постепенно все в нем успокаивается.

– Муки, – повторил он ласково, а сам подумал: «В безопасности? Конечно, в безопасности! Кому же охота помирать под самый конец?»

IV

– Свины вонючие! Пересчитываетесь снова!

Бригады работяг из Большого лагеря, вытянувшись по стойке «смирно», стояли на лагерьном плацу-линейке шеренгами по десять, разбившись на отделения. Уже темнело, и в этом смутном освещении арестанты в своих полосатых робах напоминали гигантское стадо загнанных зебр.

Поверка длилась уже больше часа, а счет все никак не сходился. Всему виной была бомбежка. В бригадах, что работали на медеплавильном заводе, имелись потери. Одна из бомб разорвалась прямо в цехе, нескольких человек убило наповал, нескольких ранило. А тут еще эсэсовская охрана, придя в себя после первого испуга, принялась палить по разбегающимся в поисках укрытия заключенным, думая, что те решили удрать. И еще человек шесть ухлопали.

После бомбежки пришлось заключенным из-под щебня и камней откапывать своих убитых или то, что от них осталось. Это было нужно для проверки. Хотя и ничтожна цена арестантской жизни, хоть и не ставят эсэсовцы эту жизнь ни во что, а на поверке счет должен сойтись, и всех, кого вывели из зоны, при входе надо предъявить живыми или мертвыми. Бюрократию трупы не пугали, пугала только недостача.

Бригады тщательно подобрали все, что сумели отыскать; кто нес руку, кто ногу, кто оторванную голову. Несколько носилок, что удалось склотить, предназначались для тех раненых, у кого не доставало конечностей или были разорваны животы. Остальных вели или волоком тащили товарищи – это уж кого как. Перевязки мало кому сделали, перевязывать-то почти нечем. Проволокой или веревками затянули жгуты тем, кто истекал кровью. Раненым в живот – тем, что на носилках, велели руками как следует придерживать кишки.

Построились в колонну, с грехом пополам дотащились в гору до лагеря. По пути еще двое умерли. Их тоже пришлось волочить. Из-за этого случилось недоразумение, при котором изрядно осрамился шарфюрер СС Гюнтер Штайнбреннер. У главных ворот лагеря, как всегда, колонну встречал оркестр, игравший гимн «Фридрих Великий». При приближении колонны оркестр по команде переходил на парадный марш, и бригаде надлежало строевым шагом, соблюдая равнение направо, промаршировать мимо начальника режима Вебера и его свиты. Даже тяжело раненные на носилках и те повернули головы вправо и попытались придать некоторую подтянутость своим полумертвым, изувеченным телам. Лишь мертвецы освободились от ритуала приветствия. Так вот, Штайнбреннер вдруг углядел, что какой-то бедолага, которого ведут двое товарищей, не держит равнение, а нагло плетется, свесив голову. Толком не разобравшись, не заметив, что ноги у арестанта тоже волочатся, Штайнбреннер мигом подскочил к наглецу и рукоятью револьвера заехал тому между глаз. Штайнбреннер был еще молодой, горячий, вот и решил второпях, что арестант всего лишь без сознания. Голова мертвеца от удара дернулась назад, а челюсть, наоборот, отвисла, – со стороны казалось, что окровавленная пасть в каком-то последнем, мстительном порыве хочет цапнуть револьвер. Остальные офицеры так и покатались со смеху, а Штайнбреннер был вне себя от ярости – он чувствовал, что этой промашкой отчасти утратил авторитет, который завоевал благодаря «курсу лечения» серной кислотой, проведенному на Йоэле Бухсбауме. Теперь придется повторить на ком-нибудь еще.

Дорога от завода до лагеря заняла много времени, и поверка началась позже обычного. Убитых и раненых разложили строго по порядку, как в строю, каждого при своем отделении и блоке. Даже тяжело раненных не отправили в госпиталь и пока что не стали делать перевязку – переключка и счет важней.

– Живо! Рассчитывайтесь снова! Если в этот раз не сойдется, будем помогать.

Начальник режима Вебер сидел верхом на стуле, который специально для него вынесли на плац-линейку. Это был мужчина тридцати пяти лет, среднего роста и недюжинной физической силы. Широкое смуглое лицо его отметил глубокий шрам, сбегавший от правого угла рта вниз к подбородку, – память о схватке с рабочими-путейцами в 1929 году. Вебер облокотился о спинку стула и скучливо наблюдал за полосатым строем рабочих бригад, между которыми в ажиотаже носились эсэсовцы, старосты и десятники, крича и раздавая пинки.

Старосты блоков, потев от напряжения и страха, начали пересчет. Раздались монотонные голоса: «Первый, второй, третий...»

Неразбериха возникла, конечно же, из-за тех, кого в клочья разорвало на медеплавильном. Заключенные, понятно, старались и подобрали все головы, руки-ноги и тела, что там нашлись, но нашлось не все. С какого конца ни считай, а все получалось, что двоих нету.

В наступающей темноте между некоторыми бригадами уже возникали споры из-за отдельных конечностей, а в первую очередь из-за голов. Каждое отделение стремилось предстать в полном составе, дабы избежать суровой кары, неизбежной в случае недостачи. Кое-где люди уже рвали друг у друга из рук кровавые останки, уже пошли в ход кулаки, но тут раздалась команда: «Смирно!» В суматохе старосты так ничего и не успели придумать, двух тел по-прежнему не было. Не иначе, бомба разорвала их в клочки, а клочки либо перелетели за ограду, либо их забросило на крышу, где они и валяются.

Дежурный офицер подошел к Веберу.

– Теперь, похоже, только полутора человек недостает. У русских на один труп три ноги, а у поляков рука лишняя нашлась.

Вебер зевнул.

– Пусть перекликаются поименно и выясняют, кого нет.

По рядам лагерников пробежал едва заметный трепет ужаса. Поименная переключка означала, что придется стоять еще часа два, если не дольше, – у поляков и русских вечно происходила путаница с именами, поскольку по-немецки они почти не понимали.

Переключка началась. Вдалеке раздались первые робкие голоса и почти сразу же ругань и удары. Эсэсовцы били от досады, что пропадает их свободное время. Десятники и бригадиры били просто от страха. Тут и там иные из беделог уже начали падать, под ранеными медленно расплзались черные лужи крови. Их иссера-бледные лица заострились и в глубоких сумерках отсвечивали масками смерти. С немой мольбой устремляли они взоры на товарищей, а те, стоя навытяжку, руки по швам, ничем не могли им помочь. Для иных частокол ног в замызганных полосатых штанах был последним, что они видели в жизни.

Из-за крематория выползла луна. Воздух был мглистый, вокруг луны образовался широкий венец. На какое-то время этот желто-красный шар застыл прямо за щелями трубы так, что казалось, будто в печах крематория сжигают духов и из труб вырывается голодное призрачное пламя. Постепенно лунный диск вылез из-за трубы и встал над ней, так что теперь ее тупое рыло напоминало жерло миномета, изрыгнувшего огненное ядро прямо в небо.

В первой шеренге блока номер тринадцать стоял заключенный Гольдштейн. Стоял он крайним слева, так что рядом с ним лежали убитые и раненые из их отделения. Среди раненых был и Шеллер, друг Гольдштейна. Он лежал ближе всех. Краем глаза Гольдштейн вдруг увидел, что черное пятно под раздробленной ногой Шеллера начало расплзаться гораздо быстрее, чем прежде. Видимо, наспех сделанная повязка разом ослабла, и теперь Шеллер истекал кровью. Гольдштейн ткнул локтем своего соседа Мюнцера, а потом начал заваливаться на бок, словно с ним обморок. И упал аккурат так, чтобы лечь Шеллеру на ноги.

Это был очень рискованный номер. Надзиратель их блока и так уже в ярости ходил по рядам, как взбесившаяся овчарка.

Одного приличного удара кованым сапогом в висок было достаточно, чтобы успокоить Гольдштейна раз и навсегда. Арестанты вокруг стояли неподвижно, но тайком каждый напряженно наблюдал за происходящим.

Надзиратель вместе со старостой блока были как раз на другом конце шеренги. Староста что-то ему докладывал. Он тоже заметил уловку Гольдштейна и теперь пытался, как мог, хоть ненадолго отвлечь внимание шарфюрера.

Гольдштейн нащупал под собой веревку, которой была перевязана нога Шеллера. Прямо под собой он видел кровь, и его тошнило от запаха сырого мяса.

– Да брось ты, – прошептал Шеллер. Гольдштейн тем временем отыскал соскользнувший узел и развязал его. Кровь потекла сильнее. – Они меня все равно усыпят, – шептал Шеллер. – С такой-то ногой...

Нога держалась только на нескольких сухожилиях и лоскутах кожи. После того как Гольдштейн на нее свалился, нога странно вывернулась и лежала теперь совсем уж чудно – ступней вовнутрь, словно в ней появился еще один сустав. Руки у Гольдштейна были все в крови. Он затянул узел, но жгут снова соскользнул. Шеллер дернулся и опять прошептал:

– Да брось ты.

Пришлось Гольдштейну снова развязывать узел. Пальцы его наткнулись на раздробленную кость. Его стало мутить. Он сглотнул, продолжая копать в осклизлом мясе, наконец нашел веревку, подтянул ее повыше – и замер. Мюнцер пихнул его в ногу. Это был сигнал – надзиратель блока, пытаясь, направлялся в их сторону.

– Еще один симулянт! Ну а с этим что?

– Обморок, господин шарфюрер, – угодливо пояснил староста. – А ну, вставай, пададь! – заорал он на Гольдштейна, пиная того ногой под ребра. Удар выглядел куда серьезней, чем был на самом деле – в последнюю секунду староста его смягчил. И тут же стукнул еще раз. Тем самым он избавлял Гольдштейна от ударов надзирателя. Гольдштейн не двигался. Кровь Шеллера текла прямо у него под носом.

– Да ладно. Пусть лежит, пошли. – Надзиратель двинулся дальше. – Черт, когда же мы управимся?

Староста поплелся за ним. Гольдштейн еще секунду-другую выждал. Потом схватил концы веревки, стянул их что есть силы вокруг ноги Шеллера, завязал, после чего крепко-накрепко закрутил деревянную палочку – хомутик, который и обеспечивал надежность перевязки. Кровь перестала течь ручьем. Она теперь только слабо сочилась. Гольдштейн осторожно убрал руки. Повязка держалась.

Переключку закончили. В итоге порешили, что недостает трех четвертей русского и верхней половины поляка Сибольского из барака номер пять. Вообще-то это было не совсем так. Руки от Сибольского имелись. Но ими завладел барак номер семнадцать и выдавал за останки Йозефа Бинсвангера, от которого не было ровным счетом ничего. Зато двое ловкачей из пятого барака выкрали нижнюю половинку русского и выдали за ноги Сибольского: благо ноги различать трудно. По счастью, нашлись и еще кое-какие неоприходованные куски и конечности, которыми с грехом пополам покрыли недостачу одного человека с четвертью. То есть худо-бедно удалось доказать, что в сумятице при бомбежке ни один заключенный не сбежал. Хорошо еще, что так обернулось, не то пришлось бы стоять на плацу до утра, потом тащиться на завод и искать недостающие останки. Недели три назад весь лагерь простоял на ногах двое суток, пока не нашли пропавшего арестанта – он, как выяснилось, порешил себя в свинарнике.

Вебер невозмутимо сидел верхом на своем стуле, все также оперев подбородок на руки. За все время переключки он едва ли шелохнулся. Теперь, выслушав доклад, лениво встал и потянулся.

– Люди совсем застоялись. Неплохо бы им размяться. Занятия по топографии!

Над плацем разнеслось дробное эхо команд: «Руки за голову! Присесть на корточки! Прыжками вперед, по-лягушачьи, марш!»

Длиннющая колонна заключенных исправно выполнила приказ. Присев на корточки, все медленно попрыгали вперед. Луна тем временем поднялась повыше и засияла ярче. Она освещала лишь часть плаца, другая половина оставалась в тени лагерных строений. В лунном сиянии четко обозначились контуры крематория, главных ворот и даже виселицы.

– Прыжки назад!

Стройными рядами арестанты попрыгали обратно, из света снова в тень. Многие падали. Надзиратели, старосты и десятники пинками заставляли их подняться и прыгать дальше. За шарканьем сотен ног окриков и ударов было почти не слышно.

– Вперед! Назад! Вперед! Назад! Смир-р-р-но!

Только теперь, собственно, и начались занятия по топографии. Сводились они к тому, что заключенным следовало бросаться на землю, ползти по-пластунски, вскакивать, снова падать и снова ползти. Таким манером они изучали «топографию зоны», чтобы знать ее «как родную». Немного погодя вся лагерная «танцплощадка» превратилась в причудливое копошащееся месиво огромных полосатых гусениц, в которых очень трудно было узнать людей. Раненые береглись, как могли, но в такой толкучке, да еще со страху, всякое было возможно.

Через четверть часа Вебер наконец скомандовал: «Отставить!» Эти пятнадцать минут произвели в рядах измученных узников основательное опустошение. Повсюду виднелись неподвижные силуэты тех, кто уже не в состоянии был подняться.

– Встать! Разобраться по блокам!

Все поплелись на свои места. Люди волоком тащили за собой свалившихся и поддерживали тех, кто хоть как-то мог стоять. Тех, кто не мог, сложили вместе с ранеными.

Лагерь снова стоял по стойке «смирно». Вебер вышел вперед.

– Все, чем вы сейчас занимались, делалось в ваших же интересах. Просто вы учились искать укрытие при воздушных налетах. – Несколько эсэсовцев захихикали. Вебер глянул в их сторону, потом продолжил: – Сегодня вы на собственной шкуре испытали, с каким бесчеловечным врагом мы имеем дело. Германия, которая всегда стремилась только к миру, подвергается жестокому и вероломному нападению. Неприятель, видя, что на поле брани он терпит поражение, в отчаянии хватается за последнее средство: вопреки всем нормам международного права он самым подлым образом бомбит мирные немецкие города. Разрушает церкви и больницы. Убивает беззащитных женщин и детей. Впрочем, ничего другого от этих недочеловеков и вырожденцев ждать не приходится. Но и за должным ответом у нас дело не станет. С завтрашнего дня администрация лагеря вводит усиленный трудовой режим. Все бригады выходят на работу на час раньше и занимаются разборкой руин. Выходные по воскресеньям отменяются. Евреям в течение двух дней хлеб выдаваться не будет. Благодарите за это ваших заграничных друзей – поджигателей и убийц.

Вебер умолк, лагерь стоял тихо. Вдалеке послышался уверенный рокот мощного мотора, он быстро нарастал. Это забирался в гору «мерседес» Нойбауэра.

– Запе-вай! – скомандовал Вебер. – «Германия, Германия превыше всего!»

Люди запели не сразу. Они были ошарашены. В последние месяцы им не часто приходилось петь, а если и приходилось, то неизменно народные песни. Обычно им приказывали запевать во время телесных наказаний. Покуда истязуемые орали, остальным полагалось петь трогательные лирические песни. А старый, давнишний, еще донацистских времен, государственный гимн им уже много лет как не заказывали.

– Ну же, пойте, сволочи!

В блоке номер тринадцать первым запел Мюнцер. Остальные кое-как подхватили. Кто не помнил слов, просто шевелил губами. Это было самое главное – всем шевелить губами.

– Почему? – шепнул Мюнцер между куплетами своему соседу Вернеру, не поворачивая головы и продолжая делать вид, что поет.

– Что почему?

В этот момент хор дружно дал петуха. С самого начала мелодию взяли недостаточно низко, поэтому наиболее торжественные, ликующие ноты заключительных строк вытянуть не смогли и сорвались на фальцет. Да и дыхание у арестантов давно уже было не то.

– Это что за скулеж? – возмутился начальник режима. – А ну-ка, сначала! И если в этот раз не споете, останетесь тут на всю ночь.

«Хор» затянул песню снова, взяв пониже. Теперь дело пошло лучше.

– Ты о чем? – переспросил Вернер.

– Почему именно «Германия, Германия превыше всего»?

Вернер прищурился.

– Может, не слишком верят своим нацистским песням после сегодняшнего, – с чувством пропел он.

Арестанты как один глядели прямо перед собой. Внезапно Вернер почувствовал какой-то странный внутренний подъем. И сразу понял, что ощущает его не один, что то же самое испытывает и Мюнцер, и растянувшийся на земле Гольдштейн, и многие другие, и даже эсэсовцы почуяли что-то. Песня вдруг зазвучала иначе, совсем не так, как обычно пели ее арестанты. Она звучала громко, слишком громко и почти вызывая иронично, причем дело было вовсе не в тексте. «Господи, только бы Вебер не заметил, – подумал он, тревожно глядя на начальника режима. – И так вон сколько уже мертвецов лежит».

Лежа на земле, Гольдштейн вплотную придвинулся к Шеллеру. Тот шевелил губами. Гольдштейн не мог разобрать, что он бормочет, но по выражению полуоткрытых глаз и так догадался.

– Чушь! – сказал он. – У нас свой человек в больничке. Он устроит. Ты выкрутишься.

Шеллер что-то возразил.

– Заткнись! – проорал ему Гольдштейн сквозь хор поющих голосов. – Ты выкрутишься, и баста! – Он смотрел на серое лицо друга, на его пористую кожу. – Никто тебя не усыпит! – запел он, стараясь попадать в такт мелодии. – У нас в больничке фельдшер! Он врача подмажет!

– Равняйся! Смирно!

Пение оборвалось. На плацу появился комендант лагеря. Вебер тихо доложил ему обстановку:

– Я вот тут прочел подопечным маленькую проповедь и добавил им часок сверхурочно каждый день.

Нойбауэра все это не слишком заинтересовало. Он нюхал воздух и встревоженно поглядывал в ночное небо.

– Как вы думаете, эти сволочи ночью не прилетят?

Вебер ухмыльнулся.

– Если верить радио, мы девяносто процентов из них сбили.

Нойбауэру шутка не понравилась. «Этому тоже терять нечего, – подумал он. – Еще один Диц, только поменьше. Наемник, больше ничего».

– Так не держите людей, если вы уже закончили, – приказал он с внезапным раздражением.

– Разойдись!

Арестанты отделениями стали расходиться по баракам. Своих раненых и мертвых они забирали с собой. О мертвых надо было сообщить, занести в списки, только после этого их отправляли в крематорий. Вернер, Мюнцер и Гольдштейн подняли Шеллера на руки. Лицо его заострилось, как у гнома. Судя по всему, до утра он не дотянет. Гольдштейну на уроке

топографии кто-то заехал по носу. Теперь, когда они шагали к бараку, пошла кровь. В тусклом свете фонарей она темной струйкой стекала по подбородку.

Они свернули в проулок, что вел к бараку. Ветер, дувший из города, к ночи усилился и, едва они завернули за угол, встретил их мощным порывом. Он принес с собой дым горящего города. Лица арестантов разом просветлели.

– Чуете? – спросил Вернер.

– Ага! – Мюнцер поднял голову.

Гольдштейн чувствовал только сладковатый привкус крови на губах. Он сплюнул и попытался вобрать в себя дым раскрытым ртом.

– Чадит так, будто уже здесь пожар...

– Точно.

Дым можно было даже разглядеть. Легким, белесым туманом он поднимался из долины вверх по улицам и постепенно густой пеленой расползлся между бараками. В первую секунду Вернеру показалось чудным, даже невероятным, что дым беспрепятственно проникает за колючую проволоку – от этого лагерь словно бы сразу стал не таким закрытым, не таким недоступным для остального мира.

Они шли вниз по проулку. Шли сквозь дым. Шаг их становился все тверже, плечи направлялись. Они несли Шеллера очень бережно.

Гольдштейн склонился над товарищем.

– Да понюхай ты! Ты понюхай только! – заклинал он тихо и умоляюще, глядя в заострившееся лицо.

Но Шеллер давно уже был без сознания.

V

В бараке стояли темень и вонь. Свет по вечерам давно уже отключали.

– Пятьсот девятый! – шепотом позвал Бергер. – Ломан хочет с тобой поговорить...

– Что, уже?

– Да вроде нет.

По узкому проходу пятьсот девятый протиснулся к дощатому отсеку нар, над которыми угадывался черный прямоугольник окна.

– Ломан?

В ответ что-то зашуршало.

– Бергер с тобой? – спросил Ломан.

– Нет.

– Приведи его.

– Зачем?

– Приведи.

Пятьсот девятый потащился обратно, сопровождаемый проклятиями и руганью. Шагать приходилось прямо по телам тех, кто спал в проходе. Кто-то со зла зубами вцепился ему в лодыжку. Лишь после нескольких чувствительных ударов по голове зубы разжались.

Через несколько минут они с Бергером вернулись.

– Мы пришли. Чего тебе надо?

– Вот. – Ломан протянул руку.

– Что? – спросил пятьсот девятый.

– Подставь руку. Только горстью. Аккуратно. – Пятьсот девятый почувствовал у себя на ладони тощий кулачок Ломана. Кожа была сухая, как у ящерицы. Кулачок медленно разжался. В ладонь пятьсот девятому упало что-то маленькое, но увесистое.

– Взял?

– Ну. А что это? Неужто...

– Ага! – прошептал Ломан. – Мой зуб.

– Как? – Бергер протиснулся поближе. – Кто тебе его вырвал?

Ломан захихикал. Это было тихое, почти беззвучное хихиканье – пожалуй, так смеются призраки.

– Я!

– Ты? Но как?

Чувствовалось, что умирающий Ломан доволен и впрямь до смерти. В голосе его слышались мальчишеская гордость и глубокое умиротворение.

– Гвоздь. Два часа работы. Маленький железный гвоздик. Нашел – и выковырял зуб.

– Где гвоздь?

Ломан пощупал рукой подле себя и протянул гвоздь Бергеру. Тот поднес его к глазам, повернулся к окну, потом ощупал.

– Ржавчина и грязь. Кровь была?

Ломан снова захихикал.

– Бергер, – сказал он, – мне кажется, маленькое заражение крови я себе позволить могу.

– погоди. – Бергер пошарил в карманах. – Спичка есть у кого-нибудь?

Спичка в зоне – это драгоценность.

– У меня нет, – сказал пятьсот девятый.

– Держи, – раздалось откуда-то со среднего яруса.

Бергер чиркнул, спичка зажглась. Предварительно и он, и пятьсот девятый зажмурили глаза, чтобы их не ослепило. Так они выиграли несколько секунд света.

– Открой рот, – приказал Бергер.

Ломан смотрел на него со снисходительным изумлением.

– Не смеши людей, – прошептал он. – Лучше продайте золото.

– Открывай рот.

По лицу Ломана скользнуло нечто, что при желании можно было принять за улыбку.

– Оставь меня в покое. Приятно было еще разок увидеть вас при свете.

– погоди, я смажу йодом. Сейчас схожу за склянкой. Бергер передал пятьсот девятому горящую спичку и пополз к своему лежаку.

– Туши свет! – рявкнул кто-то.

– Не возникай, – осадил его тот, который дал спичку.

– Туши, тебе говорят! – зашипел другой голос. – Хочешь, чтобы часовые пальнули?

Пятьсот девятый склонился ниже, загородив пламя своим скрюченным телом. Арестант со среднего яруса одеялом прикрыл огонек со стороны окна, а пятьсот девятый с другой стороны полой робы. Ясные глаза Ломана смотрели прямо на него. Слишком ясный взгляд. Пятьсот девятый посмотрел, сколько еще осталось гореть спичке, потом на Ломана и подумал, что знает Ломана семь лет, а сейчас вот в последний раз видит его живым. Слишком много видел он таких лиц, чтобы этого не понимать.

Он почувствовал обжигающий жар огонька на кончиках пальцев, но решил не гасить спичку, куда сможет терпеть. Услышал, как возвращается Бергер. Потом вдруг навалилась тьма, будто он ослеп.

– Еще одна есть? – спросил он у хозяина спичек.

– Держи, – протянул тот. – Это последняя.

«Последняя, – мелькнуло в голове у пятьсот девятого. – Пятнадцать секунд света. Пятнадцать секунд света ценою в сорок пять лет жизни человеческого существа, которое пока что зовется Ломаном. Последние пятнадцать секунд».

Маленький, дрожащий блик.

– Туши свет, гад! Да задуйте вы у него спичку!

– Заткнись, идиот! Ни одна собака ничего не увидит!

Пятьсот девятый поднес спичку еще ближе. Бергер стоял рядом наготове со склянкой йода в руке.

– Открывай...

Он осекся. Он теперь тоже увидел лицо Ломана. Не было нужды ходить за йодом. Да он и пошел-то так, скорее для виду, чтобы хоть что-то предпринять. Он медленно опустил пузырек в карман. Ломан смотрел на него спокойно, не мигая. Пятьсот девятый отвел глаза. Он раскрыл ладонь – на ней блеснул маленький золотой комочек. Он снова взглянул на Ломана. Но пламя опять уже покусывало пальцы. Чья-то тень метнулась сбоку и ударила его по руке. Свет погас.

– Спокойной ночи, Ломан, – сказал пятьсот девятый.

– Я попозже еще загляну, – пообещал Бергер.

– Бросьте, – прошептал Ломан. – Теперь уже все просто.

– Может, мы найдем еще пару спичек.

Ломан ничего не ответил.

* * *

Пятьсот девятый по-прежнему ощущал в руке твердую тяжесть золотой коронки.

– Выйдем-ка, – шепнул он Бергеру. – Лучше обсудить это на улице. Там никто нас не подслушает.

Они ошупью добрались до двери и вышли за ту стену барака, что была сейчас защищена от ветра. В городе соблюдалось затемнение, большинство пожаров успели погасить. И только

колокольня церкви Святой Катарины пылала в ночи, словно гигантский факел. Башня древняя, в ней полно сухих деревянных перекрытий. Пожарные шланги тут совершенно бессильны, надо просто дать огню выгореть, и все дела. Они присели.

– Что делать будем? – спросил пятьсот девятый.

Бергер потер воспаленные веки.

– Если коронка зарегистрирована в канцелярии, дело хана. Они проведут расследование и пару-тройку из барака вздернут, меня первого.

– Он же сказал, что коронка не зарегистрирована. Когда он сюда попал, учета коронок еще не было. Он ведь уже семь лет в лагере. Золотые зубы тогда просто выбивали, но не записывали. Регистрацию потом ввели.

– Ты точно помнишь?

Пятьсот девятый только пожал плечами. Они помолчали.

– Конечно, еще не поздно сказать все как есть и сдать коронку. Или вставить ему ее обратно, когда умрет, – раздумывал вслух пятьсот девятый. Пальцы его крепко сжали тяжелый комочек. – Хочешь, сделаем так?

Бергер мотнул головой. Золото – это жизнь, по крайней мере несколько дней жизни. Оба прекрасно знали, что теперь, раз уж коронка у них, они никому ее не сдадут.

– В конце концов, он ведь мог и сам давным-давно этот зуб выковырять и продать, – заметил пятьсот девятый.

Бергер посмотрел на него.

– Думаешь, СС на это купится?

– Нет. Особенно когда обнаружат во рту свеженькую дырку.

– И все-таки что-то в этом есть. Если он еще немножко протянет, рана подживет. А кроме того, это самый задний зуб, его не так-то просто проверить, когда тело уже остыло. Если он сегодня вечером умрет, завтра к утру окоченеет. А если умрет завтра утром, надо его попридержать, пока не застынет. Это можно, Хандке на утренней поверке мы что-нибудь наплетем.

Пятьсот девятый глянул на Бергера.

– Надо рискнуть. Золото нам позарез нужно. Особенно сейчас.

– Пожалуй. Да и нет у нас другого выхода. Кто в таком случае его загонит?

– Лебенталь. Больше никому.

Позади них открылась дверь барака. Несколько арестантов за руки и за ноги вытащили безжизненную фигуру и поволокли к куче трупов у дороги. Там складывали тех, кто умер после вечерней поверки.

– Это уже Ломан, что ли?

– Нет. Эти вообще не из наших. Мусульмане.

Бросив труп в общую кучу, арестанты, пошатываясь, поплелись обратно в барак.

– Кто-нибудь вообще заметил, что мы взяли зуб? – спросил Бергер.

– По-моему, нет. Там ведь все больше мусульмане рядом лежат. Разве что тот, который спички нам дал.

– Он сказал что-нибудь?

– Нет. Пока нет. Но если что углядел, всегда может заявиться и потребовать свою долю.

– Это еще полбеды. Не сочтет ли он более выгодным нас заложить, вот в чем вопрос.

Пятьсот девятый задумался. Он прекрасно знал: бывают люди, которые за кусок хлеба пойдут на любую подлость.

– Да вроде не похоже, – рассудил он наконец. – Иначе зачем бы он стал давать спички?

– Это тут ни при чем. В таких делах осторожность нужна. Иначе обоим крышка. И Лебенталью тоже.

Пятьсот девятый и сам прекрасно это понимал. Ему доводилось видеть, как людей вздергивали и за куда менее тяжкие провинности.

– Надо будет за ним присмотреть, – сказал он. – По крайней мере до тех пор, пока Ломана не сожгут, а Лебенталь не толкнет зуб. Потом-то он ничего нам не сделает.

Бергер кивнул.

– Пойду еще разок взгляну. Может, заодно и разузнаю чего-нибудь.

– Ладно. А я тут побуду, Лео подожду. Он, наверное, еще в рабочем лагере.

Бергер встал и направился к барaku. И он, и пятьсот девятый, не задумываясь, рискнули бы жизнью, если бы этим можно было спасти Ломана. Но спасти Ломана было нельзя. Вот они и говорили о нем, как о неодушевленном предмете. Долгие годы лагерной жизни приучили их мыслить практически.

Пятьсот девятый примостился на корточках у стены за уборной. Тут было самое укромное место – никто на тебя не смотрит. В Малом лагере на все бараки была только одна общая уборная, сооруженная как раз на границе с Рабочим лагерем – сюда и отсюда почти непрерывным потоком весь день, кряхтя и постанывая, тянулись скелеты. Почти у всех был понос, если не что похуже, и многие, упав прямо на землю, отлеживались под этими стенами, набираясь сил для обратной дороги. Вплотную за уборной проходил забор из колючей проволоки, отделявший Малый лагерь от Рабочего.

Пятьсот девятый устроился так, чтобы видеть калитку, сделанную в этом заборе. Калитка предназначалась для надзирателей, старост бараков, подвозчиков еды и сборщиков трупов с тележками. Из их двадцать второго барака здесь имел право проходить только Бергер, когда шел в крематорий. Всем остальным проход был категорически запрещен. Поляк Зильбер называл эту калитку «дохлячей», потому что, попав в Малый лагерь, арестант мог еще раз миновать эту калитку только в виде трупа. Часовые имели приказ стрелять без предупреждения при малейшей попытке кого-либо из скелетов прорваться в Рабочий лагерь. Впрочем, почти никто и не пытался. Из Рабочего лагеря, кроме тех, кому положено по службе, сюда никто не ходил. И дело не только в том, что Малый лагерь постоянно находился на карантине; просто заключенные Рабочего лагеря давно махнули на Малый рукой и относились чуть ли не как к кладбищу, где мертвецов, правда, хоронят не сразу, а дают еще какое-то время вылежаться и даже побродить.

Отсюда пятьсот девятый мог хорошо видеть сквозь колючую проволоку большую часть Рабочего лагеря. Его улицы и дорожки кишели арестантами, которые торопились использовать остаток своего свободного времени. Он видел, как они разговаривают друг с другом, стоя группами и парами и расхаживая по дорожкам, – и хотя находился он всего лишь в другом отсеке того же самого концентрационного лагеря, ему казалось, что их разделяет бездонная пропасть и что там, на той стороне, его потерянная родина, где худо ли, бедно ли, но еще есть жизнь и существует какая-никакая общность. За спиной же у себя он слышал только вялое шарканье доходяг, что плелись в уборную, и не нужно было оборачиваться, чтобы вспомнить, как выглядят их мертвые глаза. Они уже почти не говорили друг с другом – только стонали или переругивались изможденными голосами. И ни о чем уже не думали. Языкаястая лагерная молва прозвала таких обреченных «мусульманами», ибо они всецело отдали себя на произвол судьбы. Они передвигались, как автоматы, это были существа, не имеющие собственной воли; жизнь в них, по сути, уже угасла, осталось лишь несколько физиологических функций. Ходячие трупы, они умирали пачками, как мухи на морозе. Малый лагерь буквально кишел ими. Этих сломленных, потерянных людей уже ничто – даже внезапное освобождение – не могло бы спасти.

Стылый ночной холод пробирал до костей. Бормотание и стон за спиной не смолкали – пятьсот девятому казалось, что это журчит мутный поток, в котором недолго и утонуть. Искус махнуть на себя рукой, сдаться – как и другие ветераны, он знал: этот искуc надо подавлять в себе беспощадно. Пятьсот девятый произвольно поежился и даже шеей повертел, лишь бы

почувствовать, что он еще жив и способен управлять своим телом, потом услышал протяжный свисток из Рабочего лагеря – это дали отбой. Там у них в каждом бараке своя уборная, и на ночь бараки запирают. Группки на улице стремительно расходились. Люди скрывались в бараках. Не прошло и минуты, как вся зона на той стороне опустела, и только здесь, в Малом лагере, все так же безнадежно тянулась шаркающая вереница теней – обреченных, брошенных на произвол судьбы своими товарищами по несчастью, оцепленных колючей проволокой, списанных, всеми забытых доходяг; последний трепетный ручеек жизни в царстве уныния и смерти.

Лебенталь появился неожиданно. Пятьсот девятый с изумлением увидел, как тот пересекает лагерьный плац. Должно быть, незаметно прошмыгнул за уборной. Никто не знал, как он пробирается из лагеря в лагерь; может, у него есть нарукавная повязка десятника, а то и бригадира – пятьсот девятого и это бы ничуть не удивило.

– Лео!

Лебенталь остановился.

– Что тебе? Только тихо! На той стороне еще полно эсэсовцев. Пойдем-ка отсюда.

Они двинулись к баракам.

– Ну как, раздобыл?

– Что?

– Пожрать, что же еще...

Лебенталь пожал плечами.

– «Пожрать, что же еще», – передразнил он. – Как ты себе это представляешь? Я тебе что, придурок с кухни?

– Нет.

– То-то же. Чего тебе тогда от меня надо?

– Ничего. Просто спросил, не раздобыл ли ты чего-нибудь пожрать.

Лебенталь даже остановился.

– Пожрать, – повторил он с горечью. – Ты хоть знаешь, что всех евреев на двое суток пайки лишили? Приказ Вебера.

Пятьсот девятый смотрел на него, как громом пораженный.

– Правда, что ли?

– Ну что ты! Это я сам придумал. Я же затейник, все время что-нибудь выдумываю. Чтоб вам веселее было.

– Господи! Вот будет трупов-то...

– Да. Горы. А ты еще любопытствуешь, нет ли у меня чего пожрать.

– Успокойся, Лео. Давай-ка сядем. Это ж надо, какая подлянка. Как раз сейчас! Когда жратва нам нужна позарез, какая ни есть, но жратва!

– Вот как? Может, ты еще скажешь, что во всем виноват я? – Лебенталь весь затрясся. Он всегда начинал дрожать, когда психует, а психовал он то и дело, очень уж чувствительный. Трясучка стала для него привычным делом – все равно что для другого барабанить пальцами по столу. Это все шло, конечно, от голода. Голод обостряет одни чувства и притупляет другие. Истерика и апатия в лагерьной зоне неразлучны, как две сестры. – Я делаю, что могу, – заныл Лео тихим, дрожащим от обиды голосом. – Я кручусь, достаю, рискую жизнью, а тут ты приходишь и заявляешь: «Нам нужна...»

Голос его вдруг осекся и утонул в хлюпающем болотном бульканье – точно с таким же звуком отказывали иногда лагерные громкоговорители. Сидя на земле, Лебенталь лихорадочно шарил вокруг себя руками. Лицо его больше не напоминало посмертную маску обиды – теперь это были только лоб, нос, лягушачьи глазки и дряблый мешок кожи с дыркой посерединке. Наконец он нашел свою вставную челюсть, обтер ее рукавом куртки и вставил на место. Репродуктор включился снова, и в нем тут же прорезался прежний голос, жалобный и скрипучий.

Пятьсот девятый решил не обращать внимания – пусть выговорится. Лебенталь заметил это и умолк.

– Нам ведь не впервой оставаться без пайки, – сказал он наконец устало. – Бывало, что и не на двое суток, а много дольше. Что с тобой случилось? С чего вдруг ты мне тут трагедию разыгрывать решил?

Пятьсот девятый поднял на него глаза. Потом кивнул в сторону города, на горящую церковь.

– Что случилось, говоришь? А вот что.

– Да что?

– Вон там, не видишь? Как это было в Ветхом Завете?

– Ветхий Завет? На что он тебе сдался?

– По-моему, что-то похожее было при Моисее, разве нет? Огненный столп, который вывел народ из рабства?

Лебенталь заморгал.

– Столп облачный днем и столп огненный ночью, – сказал он вдруг без всякой плаксивости. – Ты это имеешь в виду³?

– Ну да. А в том столпе разве не Господь шел?

– Яхве.

– Ну хорошо, пусть Яхве. А вон то, внизу, знаешь как называется? Это надежда, Лео, надежда... для всех нас! Почему же, черт возьми, никто из вас не хочет этого видеть?

Лебенталь не ответил. Сидел, весь съежившись, и смотрел вниз, на город. Пятьсот девятый откинулся назад, к стенке. Наконец-то, впервые, он выговорил это слово. «Как трудно его произнести, – подумал он. – Какое чудовищно тяжелое слово, того и гляди прибьет. Все эти годы я боялся даже помыслить его, иначе оно разъело бы меня изнутри. Но теперь оно вернулось, да, сегодня, хотя и страшновато помыслить его целиком, но оно здесь, оно либо сломит меня, либо сбудется».

– Лео, – сказал он. – Пожар там означает, что и здесь всему будет крышка.

Лебенталь поежился.

– Если они проиграют войну, – прошептал он. – Только тогда. Но это одному Богу известно. – И он по привычке испуганно оглянулся.

В первые годы войны лагерь был довольно хорошо осведомлен о событиях на фронтах. Однако позже, когда побед не стало вовсе, Нойбауэр запретил проносить в зону газеты и передавать по лагерному радио какие-либо известия о поражениях и отступлениях. По баракам стали ходить самые немыслимые слухи, в итоге же никто не знал, чему верить, чему нет. Что дела на фронтах плохи, об этом знали все; а вот революция, которую столько лет ждали, все почему-то не совершалась.

– Лео, – сказал пятьсот девятый. – Войну они проиграют. Это конец. Если бы вон то, внизу, случилось в первые годы войны, оно бы ничего не значило. Но сейчас, пять лет спустя, оно означает, что побеждают другие.

Лебенталь снова пугливо оглянулся.

– Зачем ты мне все это говоришь?

Пятьсот девятый хорошо знал, что такое лагерные суеверия. Нельзя произносить заветное – оно не сбудется, а несбывшаяся надежда – это тяжкий удар и, значит, потеря сил. Не полагалось ничего загадывать ни за себя, ни за других.

³ «Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем и ночью» (Исход, 13:21).

– Говорю, потому что надо об этом говорить, – сказал он. – Пришло время. Теперь это поможет нам выстоять. Потому что это не парашные байки. И ждать осталось недолго. Нам надо... – Он запнулся.

– Что? – спросил Лебенталь.

Пятьсот девятый и сам толком не знал. «Прорваться, – думал он. – Прорваться, и даже больше того».

– Это как гонки, Лео, – объяснил он наконец. – Гонки... – «Со смертью», – додумал он свою фразу. Но вслух не произнес. Вместо этого показал на эсэсовские казармы: – Вот с ними! Сейчас-то уж нам проигрывать никак нельзя. Лео, до финиша рукой подать! – Он схватил Лебенталь за плечо. – Теперь все, все надо сделать...

– Да что мы можем сделать?

Пятьсот девятый почувствовал легкое головокружение, словно выпил лишнего. Он давно уже отвык много думать и много говорить. И давно не думал сколько сегодня.

– Есть одна вещичка, – сказал он, вытаскивая из кармана зуб. – Это от Ломана. Вероятно, не зарегистрирован. Продать сможем?

Лебенталь взвесил зуб на ладони. Он не удивился и не испугался.

– Рискованно. Можно, конечно, но только кому-то, кто либо сам выходит из зоны, либо имеет на волю надежные ходы.

– Не важно, как ты это сделаешь. Что мы за это получим? Только надо быстро!

– Ну, очень быстро не выйдет. В таком деле без разведки нельзя. Тут надо с головой, иначе либо останемся ни с чем, либо вообще загребим на виселицу.

– А прямо сегодня ночью ты не можешь продать?

Лебенталь чуть не выронил зуб.

– Пятьсот девятый, – сказал он. – Еще вчера ты вроде был в своем уме.

– Так вчера – это когда было.

Со стороны города донесся треск, грохот, а сразу вслед за этим ясный, мелодичный удар колокола. Огонь добрался до перекрытий колокольни, и колокол рухнул на землю.

Лебенталь испуганно съежился.

– Что это было? – спросил он.

– Знамение! – Губы пятьсот девятого скривились в усмешке. – Знамение, Лео, что вчера – это было очень давно.

– Это же был колокол. Откуда там в церкви колокол? Их же все давно переплавили на пушки.

– Не знаю. Может, один проворонили. Так как насчет зуба – сделаешь сегодня? Нам нужна жратва на эти двое суток.

Лебенталь покачал головой.

– Сегодня не получится. Как раз поэтому. Сегодня четверг. Вечер отдыха в офицерской казарме.

– Ах вон что. Значит, девочки придут?

Лебенталь поднял на собеседника глаза.

– Ты и это знаешь? Откуда?

– Не важно. Знаю я, знают Бергер, Бухер и Агасфер тоже.

– Кто еще?

– Больше никто.

– Так вы, значит, знаете. Не заметил, как это вы меня выследили. Впредь буду осторожней. Да, это сегодня вечером.

– Лео, – настаивал пятьсот девятый. – Попробуй избавиться от зуба сегодня же. Это важно. А с девочками я вместо тебя разберусь. Дай мне деньги. Я знаю, что к чему. Это нехитро.

– Ты знаешь, как это делается?

– Ну конечно, из канавы все слышал.

Лебенталь задумался.

– Вообще-то есть один хмырь в гараже, на грузовике работает, – размышлял он вслух. – Завтра он едет в город. Попробовать можно, вдруг клюнет. Хорошо, будь по-твоему. Да и сюда я, может, еще успею, чтобы самому все уладить.

Он протянул пятьсот девятому зуб.

– Мне-то он на что? – изумился тот. – Ты же берешь его с собой...

Лебенталь презрительно тряхнул головой.

– Сразу видно, много ли ты смыслишь в коммерции. Думаешь, я выручу хоть что-нибудь, если товар попадет к ним в лапы? Нет, это так не делается. Если все пойдет как надо, я вернусь и тогда уж возьму... Припрячь пока что. Ну вот, а теперь слушай внимательно...

* * *

Пятьсот девятый лежал в неглубокой рывтине, хоть и в некотором отдалении от колючей проволоки, но гораздо ближе, чем допускалось лагерным распорядком. Ограда здесь поворачивала, и с пулеметных вышек это место просматривалось не слишком хорошо, особенно ночью или в туман. Ветераны давно эту залежку приметили, но Лебенталь только несколько недель назад додумался, как извлечь из нее капитал.

Вокруг всего лагеря шириною в полкилометра простиралась запретная зона, доступ в которую разрешался только по особым пропускам СС. Непосредственно вдоль ограды тянулась довольно широкая полоса открытого пространства: в этом коридоре были вырублены все деревца и кустарники, на него же были пристреляны пулеметы.

Лебенталь, у которого развилось шестое чувство на все, что касается жратвы, заметил, что вот уже месяца два по четвергам ближе к ночи по этому коридору как раз мимо Малого лагеря проходят две девицы. Девицы были из «Летучей мыши», увеселительного заведения на подъезде к городу, и шли в казарму СС на вечер отдыха, куда их приглашали на интимную заключительную часть. Как галантные кавалеры, эсэсовцы разрешали им проходить прямо через запретную зону, в противном случае прекрасным дамам пришлось бы часа два плестись в обход. Более того, на этот короткий промежуток времени эсэсовцы даже отключали ток высокого напряжения в той части ограды, что вела вдоль Малого лагеря. Делалось это, понятно, без ведома лагерной администрации, но во всеобщем разброде и шатании последних месяцев эсэсовцы могли и не такое себе позволить. Они, впрочем, ничем не рисковали – у обитателей Малого лагеря не было сил на побег.

Так вот, одна из шлюх как-то раз в порыве великодушия бросила какому-то бедолаге за колючую проволоку ломоть хлеба. Случившийся поблизости Лебенталь это заметил. Шепнуть в темноте несколько слов, предложить денег – все это было уже парой пустяков. С тех пор девицы иногда, особенно в пасмурную погоду и туман, кое-что приносили. Делая вид, что надо поправить чулок или вытряхнуть песок из туфли, они перебрасывали еду через ограду. Лагерь был затемнен полностью, часовые на этой стороне частенько дрыхли, но даже если бы кто и заподозрил неладное, стрелять в девиц он бы не стал, а пока он подойдет посмотреть, что к чему, все будет шито-крыто.

Пятьсот девятый услышал, как колокольня в городе рухнула наконец совсем. В небо взлетел и развеялся по ветру огромный сноп искр. Потом раздалась далекие сирены пожарных.

Он не знал, сколько уже ждет, – время было в зоне понятием бессмысленным и, в сущности, ненужным. Внезапно в тревожной тьме послышались голоса и шаги. Он выполз из-под пальто Лебенталья поближе к проволоке и прислушался. Шаги были легкие и доносились слева.

Он оглянулся: лагерь совершенно утонул в темноте, не видно было даже цепочки мусульман, плетущихся в уборную. Зато он отчетливо услышал, как один из часовых с вышки прокричал вслед девицам:

– Я в двенадцать сменяюсь. Еще застану вас или как?

– Конечно, Артур.

Шаги приближались. Немного погодя пятьсот девятый различил на фоне ночного неба смутные силуэты девиц. Он оглянулся на пулеметную вышку. Тьма была такая, что часовых он не увидел вообще – значит, и те его не видят. Он потихонечку не свистнул даже, а скорее, зашипел сквозь зубы. Девушки остановились.

– Ты где? – спросила одна.

Пятьсот девятый поднял руку и помахал.

– Ах вон ты где. Деньги принес?

– Да. А что у вас?

– Сперва монеты гони. Три марки.

Деньги лежали – это было изобретение Лебенталя – в мешочке, привязанном на конце длинной палки, которая и просовывалась под колючую проволоку прямо до дорожки. Одна из девиц нагнулась, вынула мелочь и быстро пересчитала. Потом сказала:

– Ладно. Тогда держи.

Обе стали вытаскивать из карманов пальто картофелины и бросать их через ограду. Пятьсот девятый норовил поймать картофелины в пальто Лебенталя.

– Теперь хлеб, – сказала та, что потолще.

Пятьсот девятый следил, как летят над проволокой ломти хлеба, и быстро их подбирал.

– Ну так, это все.

Девушки уже двинулись дальше.

Пятьсот девятый снова зашипел.

– Чего тебе? – спросила толстушка.

– Побольше можете принести?

– Через неделю.

– Нет, сегодня. Когда пойдете из казармы. Вам там что попросите – то и дадут.

– Ты тот же, что всегда? – спросила толстушка, наклоняясь вперед.

– Да все они на одно лицо, Фрици, – бросила другая.

– Я здесь буду ждать, – прошептал пятьсот девятый. – И монеты у меня есть.

– Сколько?

– Три.

– Пошли, Фрици, пора! – торопила другая.

Обе они все это время шагали на месте, чтобы сбить с толку часовых.

– Могу хоть всю ночь ждать. Пять марок!

– Ты новенький, верно? – спросила Фрици. – А тот, другой где? Умер?

– Болен он. Меня послал. Пять марок. А может, и больше.

– Пошли, Фрици! Нельзя нам так долго задерживаться!

– Ладно. Там видно будет. По мне так жди, коли охота.

Девушки пошли дальше. Пятьсот девятый слышал, как шуршат их юбки. Он отполз назад, подтянул за собой пальто и обессиленно на него улегся. Ему казалось, что он весь взмок, но кожа была совершенно сухая.

Когда он обернулся, Лебенталь уже был тут как тут.

– Ну что, получилось? – спросил Лео.

– Ага. Вот картошка, а это хлеб.

Лебенталь склонился над добычей.

– Вот суки! – выругался он. – Ну и пиявки! Это же цены почти как у нас в лагере! За это и полутора марок хватило бы за глаза. За три марки могли бы и колбасы положить. Вот так всегда, когда не сам торгуешься!

Пятьсот девятый не стал его слушать.

– Давай делить, Лео, – сказал он.

Они заползли за барак и разложили картофелины и хлеб.

– Картошка нужна мне, – сказал Лебенталь. – Завтра торговать буду.

– Нет. Теперь все нужно для нас самих.

Лебенталь поднял на него глаза.

– Вот как? А откуда я возьму деньги для следующего раза?

– У тебя есть еще.

– Скажи пожалуйста, сколько ты всего знаешь!

Стоя на четвереньках, они угрюмо, как звери, смотрели друг другу в глаза.

– Они сегодня ночью вернутся и принесут еще, – сказал пятьсот девятый. – Харчи из казармы, выгодный товар. Я им пообещал пять марок.

– Послушай, – вскипел было Лебенталь. Потом пожал плечами. – Впрочем, если у тебя есть деньги, твое дело.

Пятьсот девятый по-прежнему смотрел на него в упор. Наконец Лебенталь не выдержал, отвел глаза и опустил на локти.

– Ты меня угробишь, – тихо заныл он. – Скажи, чего тебе вообще надо? Почему ты во все лезешь?

Пятьсот девятый боролся с искушением немедленно сунуть в рот картофелину, и еще одну, и еще, все разом, пока другие его не опередили.

– Как ты себе это представляешь? – продолжал причитать Лебенталь. – Все сожрать, все деньги спустить, остаться ни с чем, как полные идиоты, а на что потом жить будем?

Картошка. Пятьсот девятый вдыхал ее аромат. Хлеб. Он вдруг почувствовал, что руки не хотят подчиняться голове. Желудок – одна сплошная прорва. Жрать! Жрать! Проглотить все! Скорей! Сейчас же!

– У нас есть зуб, – произнес он устало и медленно повернул голову в сторону. – Как насчет зуба? Что-то ведь мы должны получить за зуб. Как с этим?

– Сегодня ничего не вышло. Тут время нужно. И вообще это все то ли будет, то ли нет. Понимаешь, у тебя что-то есть – это когда ты его в руках держишь.

«Он что, не голодный? – пронеслось у пятьсот девятого в голове. – Что он несет? Неужто у него кишки не подводит?»

– Лео, – произнес он, еле ворочая внезапно разбухшим языком. – Вспомни о Ломане. Когда нас так прихватит, будет поздно. Сейчас счет идет на дни. Загадывать на месяцы вперед смысла нет.

Со стороны женского лагеря до них донесся тонкий пронзительный крик – словно вспугнули птицу. Там, возле самой ограды, как аист на одной ноге стоял мусульманин, воздев руки к небу. Другой, рядом с ним, пытался его поддержать. Со стороны все это смахивало на какое-то жутковатое па-де-де на фоне линии горизонта. Мгновение спустя оба рухнули наземь, как сухие деревяшки, и крик заглох.

Пятьсот девятый снова повернулся к Лео.

– Когда мы такие же будем, как вон те, нам уже ничего не понадобится, – сказал он. – Тогда нам просто каюк. Надо драться за жизнь, Лео.

– Драться – но как?

– Да, драться, – сказал пятьсот девятый уже спокойнее. Припадок прошел. Он опять видел все вокруг. А то от запаха хлеба он на время потерял зрение. Он приблизил губы к уху Лебенталья: – Чтобы потом, – прошептал он почти беззвучно, – чтобы потом отомстить.

Лебенталь отпрянул.

– Это меня совершенно не касается!

Пятьсот девятый слабо улыбнулся.

– Конечно, не касается. Твое дело только добывать жратву.

Лебенталь помолчал. Потом залез в карман, поднес ладонь к самым глазам, отсчитал монеты и отдал пятьсот девятому.

– Вот тебе три марки. Последние. Теперь ты доволен?

Пятьсот девятый, ни слова не говоря, забрал деньги.

Лебенталь разложил отдельно хлеб, отдельно картошку.

– Значит, на двенадцать. Очень мало за такие-то деньги.

Он начал колдовать с дележкой.

– Дели на одиннадцать. Ломан отказался. Да ему и не нужно.

– Хорошо. На одиннадцать.

– Отнеси это в барак, Лео, к Бергеру. Они ждут.

– Ладно. Вот твоя доля. Останешься ждать этих сучек? – Да.

– Это еще не скоро. Раньше часа-двух они не придут.

– Не важно. Я тут побуду.

Лебенталь передернул плечами.

– Если они опять принесут так мало, лучше их вообще не ждать. За три марки я и в Рабочем лагере неплохо отоварюсь. Ишь, наживаются, пиявки проклятые!

– Хорошо, Лео. Я постараюсь взять побольше.

Пятьсот девятый снова заполз под пальто. Его знобило. Картофелины и кусок хлеба он держал в руке. Потом сунул хлеб в карман. «Этой ночью ничего есть не буду, – лихорадочно думал он. – Дотерплю до утра. Если до утра продержусь, тогда...» Он не знал, что будет тогда. Но что-то будет, что-то важное. Он попытался представить, что именно. Ничего не представил. В руке оставались еще картофелины. Большая и поменьше. Это было уже слишком. Он их съел. Ту, что поменьше, проглотил, вообще не жуя; большую жевал долго и вдумчиво. К чему он не был готов, так это к тому, что голод усилится. А пора бы уж знать, ведь это бывает всякий раз, но привыкнуть к этому невозможно. Он облизал пальцы, а потом зубами вцепился в руку, чтобы она не смела лезть в карман за хлебом. «Я не стану проглатывать хлеб сразу же, как прежде, – думал он. – Я съем его только завтра утром. А сегодня я одолел Лебенталья. Я его почти убедил. Он ведь не хотел, а все-таки дал мне эти три марки. Значит, я еще не совсем дошел, какая-то воля еще осталась. Если я и с хлебом до утра дотерплю, – тут в голове у него забарабанил черный дождь, – тогда, – он сжал кулаки и изо всех сил старался смотреть только на горящую церковь, – ну вот, наконец-то, – тогда я не скотина, не животное. Не мусульманин. Не только поедальный станок. Тогда я смогу, смогу, – снова наплыли слабость, дурнота, голод, – ведь это я еще недавно говорил Лебенталю, но тогда у меня не было хлеба в кармане, сказать-то легко – смогу, да, драться, сопротивляться – это все равно что снова стать человеком, попробовать стать, хотя бы начать...

VI

Нойбауэр сидел в своем кабинете. Напротив него сидел капитан медицинской службы Визе – маленький человек с обезьяньим веснушчатым лицом и потрепанными рыжеватыми усами.

Нойбауэр был не в духе. Опять один из тех неудачных дней, когда буквально все из рук валится. Сообщения в газетах, мягко говоря, невразумительные; Сельма все время ворчит; Фрея бродит по дому, как тень, глаза красные; два адвоката, снимавшие у него в доме помещения под свои конторы, расторгли с ним договор; а теперь еще этот вшивый докторишка явился и чего-то там требует.

– И сколько же вам нужно людей? – пробурчал он.

– Для начала человек шесть. Желательно истощенных физически.

Визе не из их лагеря. Неподалеку от города у него имелась небольшая клиника, и он мнил себя человеком науки. Как и некоторые другие врачи, он проводил опыты на живых людях, и лагерь уже несколько раз поставлял ему для этого заключенных. Визе водил дружбу с бывшим гауляйтером провинции, поэтому никто особенно не интересовался, как он этих людей использует. В полном соответствии с лагерным распорядком трупы потом доставлялись в крематорий, этого было вполне достаточно.

– Вам эти люди нужны для клинических экспериментов? – поинтересовался Нойбауэр.

– Да. Исследования для армии. Пока, конечно, совершенно секретные. – Визе улыбнулся, обнажив под усами неожиданно большие зубы.

– Вот как, секретные, значит. – Нойбауэр засопел. Он терпеть не мог этих выскочек, этих образованных. Повсюду лезут со своей ученостью, оттирают испытанные кадры. – Можете получить сколько угодно, – сказал он. – Мы только рады, коли наши люди еще на что-то годятся. Единственное, что нам от вас потребуется, это запрос на откомандирование.

Визе вытаращил глаза.

– Запрос на откомандирование?

– Ну да. Запрос вышестоящих инстанций, чтобы я мог откомандировать людей в ваше распоряжение.

Нойбауэр с трудом подавил злорадную ухмылку. Он знал, что застигнет Визе врасплох.

– Но я действительно не понимаю, – зачастил докторишка. – Ведь раньше ничего подобного не требовалось.

Нойбауэр и сам прекрасно это знал. Для Визе ничего такого не требовалось, потому что он был дружком гауляйтера. Но гауляйтер тем временем из-за каких-то темных делишек угодил на передовую, и это давало Нойбауэру прекрасную возможность вволю поиздеваться над капитаном медицинской службы.

– Это все чистая формальность, – пояснил он как можно дружелюбней. – Как только армейское руководство даст вам на руки такой запрос, мы вам сразу же предоставим людей.

Визе от этого не было никакого проку – армию он приплел для пущей важности. Нойбауэр и об этом прекрасно знал. Визе начал нервно теревать ус.

– Я совершенно не понимаю. Раньше мне давали людей без всяких запросов.

– Для экспериментов? Кто давал? Я?

– Ну, здесь, в лагере.

– Это, должно быть, какое-то недоразумение. – Нойбауэр схватился за телефон. – Сейчас выясним.

Ничего ему не нужно было выяснять, он и так все знал. Задав несколько вопросов, он положил трубку.

– Все как я и предполагал, господин доктор. Раньше вы запрашивали людей для легких хозяйственных работ, и вы их получали. В таких случаях наше управление трудовых ресурсов не требует никаких формальностей. Мы ежедневно отправляем бригады наших рабочих на десятки предприятий. Люди при этом остаются в лагерном подчинении. А ваш случай – совсем другое дело. Ведь на сей раз вы просите людей для проведения клинических экспериментов. Значит, их необходимо откомандировать. Тем самым люди покинут лагерь уже официально. Но на это мне нужен приказ.

Визе затряс головой.

– Это ведь что в лоб, что по лбу, – втолковывал он, начиная злиться. – Раньше я точно так же брал людей для экспериментов, как и сейчас.

– Мне об этом ничего не известно. – Нойбауэр откинулся в кресле. – Мне известно только то, что значится в документах. И полагаю, будет лучше, если мы оставим это как есть. По-моему, не в ваших интересах привлекать внимание властей к подобной неувязке.

Визе обескураженно умолк. Он сообразил, что сам себя загнал в ловушку.

– А если бы я попросил людей для легких работ, мне бы их дали? – додумался он наконец.

– Разумеется. Для того мы и держим управление трудовых ресурсов.

– Хорошо. В таком случае я прошу дать мне шесть человек для легких работ.

– Но, господин капитан! – возразил Нойбауэр с укоризной и плохо скрытым злорадством в голосе. – Мне, по совести сказать, не вполне ясны причины, побуждающие вас так быстро менять решения. Сперва вы хотите людей физически ослабленных, а теперь вдруг просите людей для легких работ. Это совсем не одно и то же! Ежели у нас кто физически ослаблен, так он даже чулки штопать не в силах, это уж вы мне поверьте. Ведь у нас тут трудовое воспитательное учреждение, железный прусский порядок...

Визе сглотнул, в сердцах вскочил и схватился за шляпу. Нойбауэр тоже поднялся. Он был доволен, что разозлил Визе. Но делать этого человека своим врагом вовсе не входило в его намерения. Кто знает, вдруг бывший гауляйтер снова окажется в фаворе.

– У меня есть другое предложение, господин доктор, – произнес он миролюбиво.

Визе обернулся. Он был бледен. Веснушки резко обозначились на его мучнистом лице.

– Да?

– Раз уж вам так необходимы люди, можете поискать добровольцев. Это избавит нас от лишних формальностей. Если заключенный сам хочет послужить науке, мы препятствовать не будем. Это, конечно, не вполне официально, но это уж моя забота, не бог весть какая ценность, особенно эти дармоеды из Малого лагеря. Пусть только подпишут соответствующее заявление, и дело с концом.

Визе ответил не сразу.

– В этом случае не требуется даже оплата за использование рабочей силы, – радушно добавил Нойбауэр. – Официально люди как бы остаются в лагере. Видите, я делаю что могу.

Визе все еще смотрел недоверчиво.

– Не знаю, почему вы вдруг так со мной суровы. Я служу родине...

– Мы все служим родине. И я вовсе не суров. Но порядок есть порядок. Канцелярская рутина. Для научного светила вроде вас это, может, и ерунда, а для нас, бюрократов, знаете, от этого иной раз жизнь зависит.

– Так я могу забрать шестерых добровольцев?

– Шестерых и даже больше, если хотите... И я даже дам в провожатые нашего лучшего лагерного гида – он отведет вас в Малый лагерь. Это оберштурмфюрер Вебер. В высшей степени способный офицер.

– Очень хорошо. Благодарю вас.

– Полноте, какие благодарности! Приятно было побеседовать.

Визе ушел. Нойбауэр тут же схватился за телефон и проинструктировал Вебера.

– Только не мешайте ему, пусть побеждает. Никаких приказов! Одни добровольцы. По мне так пусть уговаривает хоть до чахоточного кашля! А уж если желающих не найдется, что ж, мы ничем не сможем помочь.

Кладя трубку, он довольно ухмыльнулся. Плохого настроения как не бывало. Приятно было показать одному из этих выскочек, кто чего стоит. А с добровольцами вообще идея прекрасная. Пусть теперь попробует хоть кого-то уломать. В лагере почти все знают, что это за эксперименты. Даже лагерный врач – тоже, между прочим, считает себя ученым, – но когда ему для экспериментов здоровые люди нужны, арестантов даже не спрашивает, сразу за ворота бежит. Нойбауэр снова ухмыльнулся и решил завтра обязательно разузнать, что из всего этого вышло.

* * *

– А дырку видно? – допытывался Лебенталь.

– Почти нет, – заверил Бергер. – СС точно не разглядит. Последний зуб. И челюсти уже свело.

Они положили труп Ломана возле барака. Утренняя поверка прошла. Ждали труповозку. Рядом с пятьсот девятым стоял Агасфер. Губы его почти беззвучно шевелились.

– За него можешь кадиш⁴ не читать, отец, – заявил пятьсот девятый. – Он вообще был протестант.

Агасфер поднял на него глаза.

– Ничего. Ему не повредит, – спокойно ответил он и забормотал дальше.

Появился и Бухер. Следом за ним шел Карел, мальчонка из Чехословакии. Ноги у него были тоненькие как спички, а лицо, сморщенное в кулачок, смотрело с огромного, тяжелого черепа.

– Возвращайся в барак, Карел, – сказал пятьсот девятый. – Тебе тут холодно.

Мальчишка замотал головой и подошел поближе. Пятьсот девятый знал, почему тот не хочет уходить. Ломан иногда делился с Карелом своей пайкой. А здесь, сейчас, были похороны Ломана. Путь на кладбище, венки и цветы, их терпкий аромат, молитвы и поминальный плач, – все было тут, воплотившись в том единственном, что они только и могли сделать: стоять молча и сухими очами смотреть на мертвое тело, распростертое под утренним солнцем.

– Машина идет, – сказал Бергер.

Раньше трупы из лагеря убирала носильщики; потом, когда мертвецов поприбавилось, носильщикам дали телегу, запряженную сивой клячей. Но кляча сдохла, и теперь ее заменил старенький, выдавший вида грузовичок, борта которого нарастили дощатой обрешеткой – таким манером возят с бойни мясные туши. Грузовичок переползал от барака к барaku, подбирая трупы.

– А носильщики там?

– Нет.

– Значит, самим грузить. Зовите Вестхофа и Майера.

– Башмаки! – взволнованно прошептал вдруг Лебенталь. – Вот черт, про башмаки забыли! Они еще сгодиться могут...

– Точно. Но он должен быть обутой. Заменить есть чем?

– В бараке осталась какая-то рвань, от Бухсбаума. Сейчас принесу.

– А вы пока встаньте вокруг, загородите, – распорядился пятьсот девятый. – И следите, чтобы никто меня не видел.

⁴ Имеется в виду «кадиш скорбящих» – поминальная молитва у иудеев.

Он встал на колени у ног Ломана. Остальные обступили его полукольцом так, чтобы ни с грузовика, который остановился сейчас у семнадцатого барака, ни с ближайших пулеметных вышек ничего не было видно. Башмаки снялись легко, они были Ломану велики – вместо ног у того давно уже были одни кости.

– Другие где? Скорей же, Лео!

– Сейчас.

Лебенталь уже вышел из барака. Драную пару он нес под робой. Протиснувшись в кружок, он как бы невзначай встал над пятьсот девятым и выронил башмаки. Пятьсот девятый тут же сунул ему другие, Лебенталь прикрыл их полами куртки, утолкал понадежнее под мышку и отправился обратно в барак. Пятьсот девятый натянул Ломану на ноги рваные башмаки Бухсаума и, пошатнувшись, встал. Грузовик уже остановился перед восемнадцатым бараком.

– Кто за рулем?

– Да сам начальник. Штрошнайдер.

Лебенталь возвратился из барака.

– И как это мы могли позабыть! – укоризненно бросил он пятьсот девятому. – Подошвы еще почти новые.

– Продать сможем?

– Обменять.

– И то хорошо.

Грузовик подъезжал все ближе. Ломан лежал на солнце. Рот был приоткрыт и слегка перекошен, один глаз тускло выглядывал из-под века, как желтая роговая пуговица. Никто ничего не говорил. Все только смотрели на Ломана. А он был уже далеко, бесконечно далеко.

Мертвецов из секций «Б» и «В» уже погрузили.

– Шевелись! – орал Штрошнайдер. – Ждете, когда вам проповедь прочтут? А ну, забрасывайте ваших жмуриков.

– Пошли, – сказал Бергер.

В их секции «Г» было этим утром только четыре трупа. Для первых троих место еще нашлось. Но сейчас все было забито. Ветераны не знали, как погрузить Ломана. Трупы лежали плотными штабелями до самого верха. Большинство уже застыли.

– Наверх забрасывай! – надрывался Штрошнайдер. – Или, может, вас поторопить? Пусть двое-трое наверх залезут, у-у, тунеядцы поганые! У вас тут одна работа – подыхать да грузить, так вы и с той не справляетесь!

Погрузить Ломана снизу не было никакой возможности.

– Бухер! Вестхоф! – приказал пятьсот девятый. – Лезьте!

Они снова положили тело на землю. Лебенталь, пятьсот девятый, Агасфер и Бергер помогли Бухеру и Вестхофу забраться в кузов. Бухер был уже почти наверху, но оскользнулся и потерял равновесие. В поисках опоры он ухватился за что попало, но труп, за который он пытался удержаться, еще не застыл и медленно пополз вместе с Бухером вниз. Было что-то ужасное и одновременно кошунственное в этом медленном, безвольном сползании на землю мертвого тела, безразличного ко всему и необычайно податливого.

– Какого черта! – взревел Штрошнайдер. – Это еще что за свинство!

– Скорее, Бухер! – шепнул Бергер. – Давай еще раз.

Пыхтя, они снова подсадили Бухера. На сей раз ему удалось удержаться.

– Сперва эту, – командовал пятьсот девятый, кивнув на упавшее тело. – Она еще мягкая. Ее легче затолкать.

Это было тело женщины. Она оказалась тяжелей, чем обычные лагерные покойники. У нее даже губы были. Она умерла, а не околела с голоду. У нее были настоящие груди, а не пустые мешки кожи. Нет, она не из женского отделения, что граничило с Малым лагерем.

Видимо, она из обменного лагеря для евреев, ждавших выезда в Латинскую Америку. Там разрешалось даже жить семьями.

Штрошнайдер вылез из кабины и посмотрел на женщину.

– Что, может, позабавиться решили, у-у, козлы!

Весьма довольный своей шуткой, он расхохотался. Как надзиратель трупоборочной команды, он вовсе не обязан был сам водить грузовик, но он это делал, потому что любил ездить. Раньше он был шофером, и теперь садился за руль при любой возможности. Кстати, когда он был за рулем, у него и настроение поднималось.

Восьмером они наконец-то снова взгромоздили мягкий труп в кузов. Они так изнемогли, что дрожали от усталости. Потом, не обращая внимания на Штрошнайдера, который жевал табак и сплевывал на них буроватую липкую жижу, подняли Ломана. После женщины он показался почти невесомым.

– Закрепите его, – шептал Бергер. – Руку ему куда-нибудь просуньте.

Им удалось просунуть руку Ломана в ячейку дощатой обрешетки. Конечно, рука теперь неуклюже торчала из кузова, зато тело было надежно закреплено.

– Готово, – сказал Бухер и рухнул вниз.

– Ну что, пугала огородные, управились?

Штрошнайдер рассмеялся. Десять дергающихся скелетов напомнили ему огородные пугала, которые тащат одиннадцатое, застывшее.

– Ах вы, пугала, – повторил он и посмотрел на ветеранов. Никто из них не смеялся. Они только молча пытели, уставившись на задний борт грузовика, откуда торчали ноги мертвецов. Много ног. Была среди них и пара детских, в грязных белых ботиночках.

– Ну, – сказал Штрошнайдер, забираясь в кабину, – кто из вас, тифозников вонючих, следующим будет?

Никто не ответил. Хорошее настроение Штрошнайдера портилось.

– Вот говнюки! – пробурчал он. – Даже на это ума не хватает.

И в сердцах дал полный газ. Мотор загрохотал пулеметной очередью. Скелеты бросились враспыльную. Штрошнайдер удовлетворенно кивнул и вывел машину на дорогу.

Они стояли в сизом бензиновом чаду. Лебенталь кашлял.

– У-у, боров разьевшийся, – негодовал он.

А пятьсот девятый и не думал уходить из дымного облака:

– А что, наверно, от вшей хорошо!

Грузовик удалялся к крематорию. Рука Ломана торчала из кузова сбоку. Грузовик подпрыгивал на ухабах, и рука дергалась, будто машет.

Пятьсот девятый провожал машину глазами. Он нащупал в кармане золотую коронку. В какой-то миг ему показалось, что она тоже должна исчезнуть вместе с Ломаном. Лебенталь все кашлял. Пятьсот девятый повернулся. В кармане он нащупал еще и хлеб – тот самый, со вчерашнего вечера. Все еще не съеден. Он нащупал его – и почему-то не почувствовал утешения.

– Так что там с ботинками, Лео? – спросил он. – На что они потянут?

Бергер направлялся в крематорий, как вдруг увидел Вебера и Визе. Он тут же приковывал обратно.

– Вебер идет! С Хандке и каким-то штатским! По-моему, это тот самый лекарь-живодер. Берегитесь!

В бараках поднялся переполох. Старшие офицеры СС почти никогда не появлялись в Малом лагере. Каждый знал – просто так они не приходят.

– Агасфер! – крикнул пятьсот девятый. – Овчарку спрячь!

– Думаешь, они пойдут по баракам?

– Может, и нет. Но с ними штатский.

– А далеко они? – спросил Агасфер. – Успеем?

– Успеешь. Только быстро.

Овчарка покорно улегся на пол, и, пока Агасфер его гладил, пятьсот девятый связал ему руки и ноги, чтобы не выбежал на улицу. Вообще-то с Овчаркой никогда так не обходились, но визит был странный, так что лучше не рисковать. Агасфер вдобавок засунул ему в рот кляп, чтобы не залаял. После чего Овчарку оттащили в самый темный угол.

– Лежать! – приказал Агасфер, подняв руку. – Спокойно! Место! – Овчарка попробовал подняться. – Лежать, я сказал! И тихо! Место!

Сумасшедший покорно лег.

– Стро-о-ойсь! – уже орал Хандке с улицы.

Скелеты гурьбой высыпали из барака и построились. Кто не мог идти сам, опирался на товарищей, совсем немощных вынесли и положили на землю.

Гостей встретила жалкая толпа полумертвых, изможденных, голодных доходяг. Вебер обернулся к Визе.

– Полагаю, это то, что вам нужно?

Ноздри Визе жадно раздувались, словно он учуял запах жаркого.

– Превосходные экземпляры, – пробормотал он. Потом нацепил на нос очки в толстой роговой оправе и доброжелательно оглядел ряды заключенных.

– Хотите выбрать? – осведомился Вебер.

Визе застенчиво откашлялся.

– Вообще-то речь шла о добровольцах...

– Ну и отлично, – легко согласился Вебер. – Как вам будет угодно. Шесть человек на легкие работы – шаг вперед!

Ни один не тронулся с места. Вебер побагровел. Старосты блоков, повторяя команду, уже пытались вытянуть иных добровольцев силой. Вебер неторопливой походкой двинулся вдоль строя и, подойдя к отряду двадцать второго барака, в одном из задних рядов узрел Агасфера.

– Вот ты! – гаркнул он. – Ты, ты, с бородой! Выйти из строя! Ты что, не знаешь, что с бородой расхаживать запрещено? Староста блока! Что у вас за порядки? Для чего вы вообще тут? Ну-ка, давайте сюда этого бородатого.

Агасфер подошел.

– Слишком стар, – шепнул Визе и потянул Вебера за рукав. – Одну минуточку. По-моему, это надо сделать иначе. Милейшие! – ласково обратился он к арестантам. – Вам надо бы в больницу. Всем. Но в лагерном лазарете мест нет. Шестерых из вас я могу определить к себе. Будут суп, мясо, вообще хорошее питание. Шестеро из тех, кто больше всего в этом нуждается, пусть выйдут.

Ни один не вышел. Да и кто в зоне поверит подобным рассказам? К тому же ветераны узнали Визе. Вспомнили, как он уже кое-кого к себе забирал. Ни один не вернулся.

– Выходит, вас даже слишком хорошо кормят, а? – усмехнулся Вебер. – Ну ничего, это дело поправимое. Шесть человек шаг вперед, живо! – заорал он.

Из секции «Б» неуверенно вышел какой-то доходяга и робко замер на месте.

– Вот и отлично, – сказал Визе, изучая его. – Сразу видно разумного человека. Ничего, мы вас подкормим.

Следом вышел еще один. И еще. Эти были явно из новеньких.

– Ну, живей! Еще трое! – злобно рявкнул Вебер. Он считал, что вся эта затея с добровольцами – просто очередная блажь Нойбауэра. Достаточно было затребовать в канцелярии шесть человек, и дело с концом.

Уголки губ у Визе уже нервно подергивались.

– Дорогие друзья! Я лично гарантирую вам хорошую еду. Мясо, какао, крепкие бульоны!

– Господин доктор, – остановил его Вебер. – Разве вы не видите – эти головорезы человеческого языка не понимают.

– Мясо? – как замороженный повторил скелет по имени Вася, что стоял рядом с пятьсот девятым.

– Ну конечно, дорогой мой! – обернулся к нему Визе. – Каждый день. Каждый день мясо.

Вася сглотнул. Пятьсот девятый предостерегающе ткнул его локтем в бок. Движение было едва заметное, но Вебер все равно углядел.

– Ах ты скотина! – Он пнул пятьсот девятого в живот. Удар был не слишком сильный. По классификации самого Вебера – не наказующий удар, а только предупредительный. Тем не менее пятьсот девятый упал.

– Встать! Симулянт несчастный!

– Не надо, не надо так, – тихо приговаривал Визе, почти силой оттаскивая Вебера. – Они мне нужны без увечий.

Он склонился над пятьсот девятым, проверяя, целы ли у того кости. Немного погодя пятьсот девятый открыл глаза. На Визе он не смотрел. Он смотрел на Вебера.

Визе выпрямился.

– Вам надо в больницу, дружище. Мы о вас позаботимся.

– Я здоров, – выдавил пятьсот девятый, с трудом поднимаясь на ноги.

Визе усмехнулся.

– Мне как врачу лучше знать. – Он обернулся к Веберу. – Значит, еще эти двое. Ну и последнего. Кого-нибудь помоложе. – Он ткнул в Бухера, который стоял с другого бока от пятьсот девятого. – Да вот хоть его.

– Шаг вперед!

Бухер вышел из строя и присоединился к пятьсот девятому и остальным. В первом ряду образовалась брешь, сквозь которую Вебер увидел Карела, чешского мальчишку.

– Тут вон еще есть полчеловека. Не возьмете – как бесплатное приложение?

– Нет, благодарю. Мне только взрослые нужны. Этих хватит. Большое спасибо.

– Ну хорошо. Вы, все шестеро, через пятнадцать минут явитесь в канцелярию. Староста блока! Запишите номера. И чтоб помылись, чушки чумазы!

Они стояли как громом пораженные. Ни один не произнес ни слова. Они знали, что это значит. Только Вася радостно улыбался. От голода он помутился в рассудке и поверил сказкам Визе. Трое новичков тупо глядели в пустоту – эти безвольно подчинились бы любому приказу, даже если бы им велели прыгать на провода с током. Агасфер лежал на земле и стонал. Хандке избил его дубинкой уже после того, как Вебер и Визе ушли.

Со стороны женского лагеря донесся слабый крик.

– Йозеф!

Бухер не сдвинулся с места. Бергер подтолкнул его.

– Это же Рут Холланд.

Женский лагерь расположился по соседству с Малым, слева от него, отделенный двумя оградами из колючей проволоки, но без тока. Было в нем всего два небольших барака, построенных уже во время войны, когда начались новые массовые аресты. Раньше женщин в лагере не было.

Два года назад Бухер несколько недель отработал в женском лагере столяром. Там он и повстречал Рут Холланд. Им удавалось иногда недолго видиться и даже говорить друг с другом. Потом Бухера перевели в другую бригаду. Они увиделись снова только недавно, когда Бухера сплавляли в Малый лагерь. Иногда, ночью или в туман, они могли пошептаться у забора.

Сейчас Рут Холланд стояла возле самой колючей проволоки, отделявшей один лагерь от другого. Ветер трепал полы полосатой арестантской робы о ее худые, спичечные ноги.

– Йозеф! – крикнула она снова.

Бухер поднял голову.

– Отойди от проволоки! Тебя увидят!

– Я все слышала. Не делай этого!

– Отойди от проволоки. Рут! Они тебя подстрелят!

Она замотала головой, волосы у нее были короткие и совсем седые.

– Только не ты! Останься! Не уходи! Останься, Йозеф, слышишь!

Бухер бросил отчаянный взгляд на пятьсот девятого.

– Мы вернемся, – ответил за него пятьсот девятый.

– Не вернется он! Я знаю. И ты знаешь. – Руками она схватилась за проволоку. – Никто никогда не возвращается.

– Иди в барак, Рут. – Бухер с тревогой поглядывал на сторожевые вышки. – Ты же знаешь, тут опасно стоять.

– Он не вернется! Вы все это знаете!

Пятьсот девятый не стал ей отвечать. Отвечать все равно нечего. Душа словно онемела. Чувств больше не было. Ни для других, ни для себя. Все кончено, он это знает, просто не почувствовал еще. Он чувствовал только одно – что ничего не чувствует.

– Он не вернется, – повторила Рут Холланд. – Нельзя ему уходить.

Бухер уставился в землю. Слишком он был удручен, чтобы что-то отвечать.

– Нельзя ему уходить, – причитала Рут Холланд. Это было как литания. Монотонно, бесстрастно. По ту сторону всякой страсти. – Пусть пойдет кто-то другой. Он еще такой молодой. Пусть пойдет кто-то вместо него...

Никто не отозвался. Каждый знал – Бухеру деваться некуда. Хандке уже записал номера. Да и кто пойдет вместо него?

Они стояли молча и смотрели друг на друга. Те, кому надо идти, и те, которые остаются. Смотрели друг на друга. Ударь вдруг молния, убей она пятьсот девятого и Бухера наповал – и то было бы легче. А так стоять было невыносимо, потому что в этих прощальных взглядах была еще и тайная недомолвка: «Почему я? За что именно меня?» – безмолвно кричали глаза одних; «Слава Богу, не я! Не меня!» – безмолвно ликовали другие.

Агасфер медленно поднялся с земли. Какое-то время он горестно смотрел прямо перед собой. Губы его что-то шептали. Бергер повернулся к нему.

– Это я виноват, – неожиданно прокричал старик. – Все я... моя борода... из-за этого он попался. А так остался бы здесь... Ой, горе мне!..

Обеими руками вцепился он себе в бороду. Слезы струились по морщинистому лицу. Но у него не было сил вырвать себе волосы. Сидя на земле, он только неистово мотал головой.

– Иди в барак, – резко приказал Бергер.

Агасфер поднял на него глаза. Потом упал ничком, уткнул лицо в ладони и завыл.

– Надо идти, – сказал пятьсот девятый.

– Зуб где? – спросил Лебенталь.

Пятьсот девятый сунул руку в карман и протянул Лебента-лю зуб.

– Вот.

Лебенталь взял. Его трясло.

– Вот он, твой боженька, – пробормотал он, яростно махнув рукой куда-то в сторону города и сгоревшей церкви. – Твое знамение! Твой огненный столп!

Пятьсот девятый снова порылся в кармане. Вынимая зуб, он нащупал там кусок хлеба. Какой прок, что он так его и не съел? Он протянул хлеб Лебенталю.

– Ешь сам, – прошипел Лебенталь в бессильной ярости. – Это твой.

– Мне это уже без толку.

Кто-то из мусульман увидел кусок хлеба. С раскрытым ртом кинулся он к пятьсот девятому, схватил того за руку и попытался зубами вырвать хлеб. Пятьсот девятый отпихнул его и сунул ломоть в ладошку Карелу, который все это время молча стоял рядом с ним. Мусульманин потянулся к Карелу. Мальчик спокойно и точно ударил его ногой в пах, мусульманин согнулся, и его оттащили.

Карел посмотрел на пятьсот девятого.

– Вас отправят в газовую камеру? – деловито осведомился он.

– Здесь нет газовых камер, Карел. Пора бы уж тебе знать, – буркнул Бергер сердито.

– В Биркенау они тоже так говорили. Если дадут полотенца и скажут, что идете в баню, тогда это точно газ.

Бергер отодвинул его в сторонку.

– Иди и съешь свой хлеб, пока у тебя не отняли.

– Не отнимут, я смотрю.

Карел сунул хлеб в рот. Он никого не хотел обидеть – просто спросил, как спрашивает любой ребенок, когда взрослые уезжают. Но он вырос в концлагере и знал о путешествиях только по одному маршруту.

– Пошли, – сказал пятьсот девятый.

Рут Холланд зарыдала. Руки ее вцепились в колючую проволоку, как коготки птицы. Она скрежетала зубами и стонала. Слез у нее не было.

– Пошли, – сказал пятьсот девятый еще раз.

Он медленно обвел глазами остающихся. Большинство уже равнодушно расплзлись по своим баракам. Провожали их только ветераны да еще несколько арестантов. Внезапно пятьсот девятому показалось, что он может сказать что-то ужасно важное, что-то, от чего все зависит. Он думал изо всех сил, но не мог поймать мысль и подобрать к ней слова.

– Запомните это, – только и сказал он наконец.

Никто ему не ответил. Он видел – они не запомнят. Слишком часто они уже все это видели. Вот Бухер, тот, может, и запомнил бы, он молодой, но ему тоже идти.

Спотыкаясь, они тронулись в путь. Конечно, они не помыслили. Насчет мытья – это Вебер пошутил: в лагере вечно не хватало воды. Они шли вперед. Не оглядываясь. Миновали калитку в проволочной ограде, что отделяла Малый лагерь от Рабочего. Дохлая калитка. Вася причмокивал ртом. Трое новеньких шли бездумно, как автоматы. Вот они уже идут мимо первых бараков Рабочего лагеря. Бригады давно ушли на работы. От пустых бараков веяло тоской и безнадеей, но сейчас они казались пятьсот девятому самым желанным местом на свете. Там, в бараках, для него вдруг сосредоточилось все: пристанище, безопасность, жизнь. Как бы хотелось сейчас юркнуть туда и затаиться – лишь бы не это безнадоедное шествие навстречу смерти. «Каких-то двух месяцев не дожить! – тупо стучало в голове. – А может, двух недель. Зазря. Все зазря!»

– Эй, товарищ! – окликнул его кто-то совсем рядом. Это было около тринадцатого барака. В дверях стоял арестант, весь заросший клочковатой черной щетиной.

Пятьсот девятый взглянул на него.

– Запомните это, – пробормотал он. Он не знал этого человека.

– Запомним, – ответил тот. – А куда вас?

Те из заключенных, кто оставался днем в Рабочем лагере, видели Вебера и Визе. И они понимали, что все это неспроста.

Пятьсот девятый остановился. Пристально глянул на небритого. Отупение вдруг как рукой сняло. Он опять почувствовал, что должен сказать что-то очень важное, что-то, что ни в коем случае не должно пропасть.

– Запомните это! – прошептал он со значением. – Навсегда! Слышите, навсегда!

– Навсегда! – ответил небритый твердо. – А куда вас?

– В госпиталь. Мы подопытные кролики. Запомните это. Как тебя звать?

– Станислав. Станислав Левинский.

– Запомни это, Левинский! – сказал пятьсот девятый. Казалось, чужое имя придает заклинанию больше силы. – Левинский, запомни это!

– Я запомню.

Левинский тронул пятьсот девятого за плечо. Тот понял – это не просто дружеское прикосновение. Он пристально посмотрел Левинскому в глаза. Левинский кивнул. У него было совсем не такое лицо, как у обитателей Малого лагеря. Пятьсот девятый почувствовал: его поняли. И только тогда пошел дальше.

Бухер его ждал. Вместе они нагнали четверку других, что понуро плелись вперед.

– Мясо, – бормотал Вася. – Суп и мясо.

В канцелярии затхлый и стылый воздух провонял сапожной ваксой. Надзиратель уже приготовил бумаги. Он посмотрел на шестерку прибывших без малейшего интереса.

– Вам надо подписать вот это.

Пятьсот девятый глянул на стол. Он не понимал, зачем и что надо подписывать. Заключение обычно ни о чем не спрашивают, отправляют по этапу – и баста. Тут он почувствовал, что кто-то пристально на него смотрит. Это был один из писарей, он сидел у надзирателя за спиной. Волосы у него были огненно-рыжие. Увидев, что пятьсот девятый на него смотрит, писарь едва заметно повел головой и тут же снова уткнулся в работу.

Тут вошел Вебер. Все вытянулись.

– Продолжайте! – скомандовал тот и взял со стола бумаги. – Как, еще не готовы? Ну-ка, живо подписывайте!

– Я писать не умею, – сказал Вася, который стоял ближе всех.

– Тогда ставь три креста.

Вася поставил три креста.

– Следующий!

Трое новеньких подошли один за другим и расписались. Пятьсот девятый судорожно пытался собраться с силами. Ему все казалось, что сейчас, вот-вот, еще найдется какой-нибудь выход. Он снова посмотрел на писаря, но тот сидел, не поднимая глаз.

– Теперь ты! – рявкнул Вебер. – Ну? Ты что, заснул?

Пятьсот девятый взял листок в руки. Перед глазами все плыло. Несколько машинописных строчек прыгали и никак не хотели успокоиться.

– Он, вшивота, еще читать будет! – Вебер ткнул его в спину. – Подписывай, скотина!

Но пятьсот девятый успел прочесть достаточно. Он успел разобрать слова: «настоящим добровольно заявляю». Он уронил листок на стол. Вот она, его последняя, отчаянная зацепка! На нее-то, наверно, и намекал писарь.

– Да шевелись ты, козел вонючий! Или тебя за руку взять и показать, как подписываются?

– Я ничего добровольно не заявлял, – сказал пятьсот девятый.

Надзиратель вылупил на него глаза. Писари подняли головы и тут же снова уткнулись в свои бумаги. На мгновение стало очень тихо.

– Что? – спросил Вебер, явно не веря своим ушам.

Пятьсот девятый набрал в грудь воздуха.

– Я ничего добровольно не заявлял.

– Значит, ты отказываешься подписать?

– Да.

Вебер облизнул губы.

– Вот как. Не подпишешь, значит?

Он схватил пятьсот девятого за левую руку, потянул на себя, потом резко вывернул и заломил за спину. Пятьсот девятый рухнул на пол лицом вниз. А Вебер и не думал его отпускать, заломил руку еще резче и даже подергал, упершись ногой в хребет своей жертвы. Пятьсот девятый вскрикнул и затих.

Другой рукой Вебер ухватил его за воротник и попытался поставить на ноги. Пятьсот девятый снова упал.

– Слабак! – буркнул Вебер. Потом открыл дверь. – Кляйнерт! Михель! Заберите этого поносника и приведите в чувство. И пусть ждет. Я скоро приду.

Двое дюжих эсэсовцев выволокли пятьсот девятого вон.

– Теперь ты, – ткнул Вебер в Бухера. – Подписывай!

Бухер дрожал. Он бы и рад был не дрожать, но ничего не мог с собой поделать. Ведь он остался совсем один. Пятьсот девятого рядом не было. Внутри от страха все оборвалось. Надо как можно скорее сделать то же, что и пятьсот девятый, иначе будет поздно, и он, как марионетка, исполнит все, что ему прикажут.

– Я тоже не подпишу, – пролепетал он.

Вебер ослабился.

– Смотри-ка! Еще один! Совсем как в добрые старые времена!

Бухер даже не успел почувствовать удар. В глазах с треском разорвалась тьма. Очнувшись, он увидел прямо над собой Вебера. «Пятьсот девятый! – пронеслось у него в голове. – Пятьсот девятый на двадцать лет старше меня. С ним делали то же самое. Я должен выдержать!» Боль в плечах была несусветная, словно туда вонзали ножи, жгли каленым железом, он даже не слышал собственного воя, потом снова навалилась темнота.

Когда он очнулся второй раз, он весь мокрый лежал на бетонном полу в каком-то другом помещении, рядом лежал пятьсот девятый. Сквозь шум в висках до него донесся голос Вебера:

– Я, конечно, могу приказать, чтобы за вас эти закорючки поставили – и дело с концом. Но я этого не сделаю. Я вас, голубчики, тихо-спокойно обломаю. Сами подпишете как миленькие. На коленях будете упрашивать, чтобы вам разрешили подписать, если, конечно, вообще писать сможете.

Пятьсот девятый видел черный силуэт Вебера в прямоугольнике окна. Голова была огромная, она грозно темнела на фоне неба. Внезапно ему показалось, что черная голова – это сама смерть, а небо – это жизнь, да, жизнь, не важно, какая и где, пусть в крови и вшах, пусть калеккой, но все равно жизнь, хоть крохотное мгновение жизни, – но тут на него снова навалилась спасительная одеревенелость, нервы, слава Богу, будто разом отключились, и в голове ничего не осталось, кроме ровного, тупого гула. «И чего ради я упираюсь, – вяло проплыло в его сознании, когда он очнулся снова. – Не все ли равно: быть насмерть забитым здесь или подписать, а потом получить свой укол и тихо окочуриться, так даже быстрее, да и не больно». Но тут вдруг он услышал рядом голос, свой собственный голос, хотя казалось, что это кто-то другой говорит:

– Нет! Я не подпишу. Хоть убейте.

Вебер расхохотался.

– Что, на тот свет захотелось, кашей недоделанный? От всего избавиться, да? Нет уж. Мы убиваем неделями. Это только начало.

И он снова взялся за тяжелый плетеный ремень. Первый удар пришелся пятьсот девятому по глазам. Глаза остались целы, они, по счастью, давно у него ввалились. Вторым ударом пришелся в губы. Губы треснули, как сухой пергамент. После еще нескольких ударов пряжкой по голове он снова потерял сознание.

Вебер отпихнул его в сторону и бросился на Бухера. Бухер попытался увернуться, но в движениях его уже не было быстроты. Вебер двинул его прямо по носу, а когда Бухер согнулся, ударил ногой в пах. Бухер вскрикнул. Он еще успел почувствовать, как медная

пряжка несколько раз со свистом врезалась ему в затылок, а потом снова впал в черное тягучее забытие.

Он слышал над собой неясный гул голосов, но не шевелился. Пока думают, что он без чувств, бить не будут. Голоса наплывали откуда-то издали и падали в бесконечность. Он не хотел их слушать, но они приближались сами, били по мозгам все резче, лезли в уши.

– Весьма сожалею, господин доктор, но если люди не хотят добровольно, – вы же видите, Вебер как следует их уговаривал.

Нойбауэр был в прекрасном настроении. Ход событий даже превзошел его ожидания.

– Разве вы этого требовали? – спросил он у Визе.

– Разумеется, нет.

Бухер попытался исподтишка подсмотреть, что происходит. Но веки его не слушались, прищурить их он не мог – они раскрылись во всю ширь, как у лупоглазой куклы. Он увидел Визе и Нойбауэра. Потом заметил и пятьсот девятого. У того тоже глаза были открыты. Вебера в комнате не было.

– Разумеется, нет, – повторил Визе. – Как цивилизованный человек...

– Как цивилизованный человек, – прервал его Нойбауэр, – вы затребовали этих людей для своих экспериментов, не так ли?

– Да, но это в интересах науки. Наши опыты спасут жизнь десяткам тысяч других людей. Может, вы не вполне понимаете...

– Отчего же. Но вот вы, пожалуй, не вполне понимаете нас. Между тем это просто вопрос дисциплины. Тоже, кстати, весьма важная вещь.

– У каждого свои задачи, – изрек Визе надменно.

– Конечно, конечно. Сожалею, что не смогли быть вам более полезны. Но мы никого из наших подопечных не принуждаем. Эти вот заключенные, похоже, отнюдь не горят желанием покидать лагерь. – Он обратился к пятьсот девятому и Бухеру. – Вы ведь предпочитаете остаться в лагере?

Пятьсот девятый слабо шевельнул губами.

– Что? – резко переспросил Нойбауэр.

– Да, – сказал пятьсот девятый.

– А ты?

– Я тоже, – прошептал Бухер.

– Видите, господин капитан. – Нойбауэр улыбнулся. – Людям у нас нравится. Тут уж ничего не поделаешь.

Визе не улыбался.

– Дурачье, – сказал он, бросив брезгливый взгляд в сторону пятьсот девятого и Бухера. – В этот раз у нас по плану действительно только эксперименты с кормлением.

Нойбауэр, пыхнув сигарой, выпустил облачко дыма.

– Тем лучше. Это им еще одно наказание за неповиновение. Кстати, господин доктор, если вы хотите подыскать им в лагере замену, милости прошу.

– Благодарю, – холодно ответил Визе.

Нойбауэр прикрыл за ним дверь и вернулся в помещение. Фигуру его окутывало пряное, ароматное облако сизого дыма. Пятьсот девятый вдохнул этот дым и почувствовал, как жажда курить буквально раздирает легкие. От него эта жажда не зависела, она была как свирепый маленький хорек, что поселился в легких. Невольно он еще раз глубоко вздохнул, снова ощутил блаженный вкус дыма, но при этом не спускал глаз с Нойбауэра. В первую минуту он не сообразил, почему его и Бухера не отправили вместе с Визе; но сейчас он все понял. Тут есть только одно объяснение. Они не подчинились офицеру СС и за это должны понести наказание здесь, в лагере. Предугадать наказание нетрудно – арестантов вздергивали за неподчинение

даже рядовому надзирателю. Значит, их отказ был ошибкой, понял он вдруг. Пойди они с Визе, у них еще оставалась бы какая-то надежда. А теперь им точно крышка.

Удушливая волна отчаяния и обиды захлестнула его изнутри. Она сжимала желудок, застилала глаза – и в то же время необъяснимо и остро, просто до смерти хотелось курить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.